18+

ВЛАДИМИР ТОРМЫШОВ

Лавка заброшенных сердец



Владимир Тормышов

Лавка заброшенных сердец

«Издательские решения»

Тормышов В.

Лавка заброшенных сердец / В. Тормышов — «Издательские решения»,

В селе Казинка, где туман над рекой Матыра пахнет сухой полынью, живет дед Слава. Его дом — не изба, а «Лавка заброшенных сердец». Дед не читает молитв и не гадает на картах. Он чинит людей. Вдыхает тепло в замерзшие чувства, выкуривает тоску из детских глаз и собирает забытые улыбки в холщовые мешки, чтобы сжечь их в старой бочке, пока не наступила зима. Но за каждое починенное сердце он платит годами своей жизни, становясь всё прозрачнее. Это история о магии, которая пахнет медом и пылью

© Тормышов В.
© Издательские решения

Содержание

Лавка заброшенных сердец 6
Дым над Матырой: Хроники 1987—2026 8
Пыль над рекой Матырой 10
Звук рвущегося шелка 13
Когда Господь выключает звук 17
О том, как из ушной раковины выдули осенний сквозняк 19
Музыка сфер 22
Урожай 26
Папка с глупостями 32
Янтарная женщина 34
Когда радуга падает в малину 37
Когда бумага выплевывает буквы 41
Вторая половина 43
Конец ознакомительного фрагмента. 44

Лавка заброшенных сердец

Владимир Тормышов

© Владимир Тормышов, 2026

ISBN 978-5-0071-7392-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Лавка заброшенных сердец

В этой книге настоящая магия, как она есть.

Не методики, как в «Черной магии на Руси», а сама магия в чистом виде.

Ее нужно только понять.

Понять и пустить в свое сердце, и мир изменится, и возможно, и вы станете магом.

Вы думаете, вы знаете, как пахнет осень?

Вы чувствуете сквозняк?

Не из окна. Изнутри. Там, где должна быть радость, а звенит только холодная, гулкая пустота. Вы думаете, это одиночество? Вы ошибаетесь. Это ваша душа вышла в сени и забыла, как вернуться обратно.

В селе Казинка, где река Матыра по утрам курится таким густым туманом, что Господь, кажется, еще не доклеил этот край к карте мира, живет Станислав Федорович. А для тех, кто потерял себя — он хозяин **«Лавки заброшенных сердец»**.

Эта книга — не роман. Это аптечный склад. Склад забытых улыбок, невысказанных извинений и украденных детских снов.

Эта книга — о том, как книги **лечат**.

В пыльной горнице деда Славы нет бинтов и скальпелей. Там есть:

— **Старый венский стул**, на котором высыхают слезы.

— **Запах канифоли**, которым паяют разорванную связь между матерью и сыном.

— **Мед**, который пахнет не цветами, а первым поцелуем, случившимся пятьдесят лет назад.

Здесь нет магии из палочек и заклинаний. Здесь есть география души. Дед Слава знает, что тоска по умершей собаке живет в левом колене, а обида на отца застряла в горле, как рыбья кость. Он не гадает на картах. Он читает линии на ваших ладонях, как читают расписание поездов, и точно знает, в какой час ваша жизнь сошла с рельсов.

В «Лавке заброшенных сердец» вы найдете:

— **Таню**, которая забыла, как звучит голос матери, и деда, который достал этот звук из-под гнета лет.

— **Свету**, королеву пустоты, променявшую красную крышу и десять детей на золото софитов, и цену, которую пришлось заплатить за этот обмен.

— **Собак**, которые воют не на луну, а на то, что их хозяева забыли, как пахнет счастье.

Дед Слава — это механик. Он чинит людей. Он берет сломанную любовь, разбитую дружбу, мертвую память — и вставляет туда новую шестеренку. Свою собственную. И с каждым починенным сердцем он становится чуть прозрачнее, чуть ближе к тому, чтобы самому стать просто строчкой в книге времен.

«Лавка заброшенных сердец» — это книга для тех, кто слышит, как в груди тикают часы, и понимает, что батарейка почти села.

Откройте её. Приложите к больному месту. И если к утру страницы пахнут не типографской краской, а осенним яблоком и речной водой — не удивляйтесь.

Это значит, что лавка заработала и для вас.

Рассказы о старом колдуне Казинки.

Интересные истории о деде Славе и еще много о чем.

Вы думаете, магия — это фаерболы, древние руны и битвы драконов в небесах?

Вы ошибаетесь.

Магия пахнет пылью, антоновкой и сухим сеном. Она живет не в хрустальных башнях, а на покосившемся крыльце старого дома в селе Казинка. Там, где река Матыра течет так медленно, что кажется, будто время в ней превратилось в густой деготь.

Там живет дед Слава.

Он не носит мантий. Его парадная одежда — старый брезентовый плащ, пахнущий дождем и махоркой. Он не читает заклинаний из книг. Он просто говорит: «Порядок» — и сломанная кость срастается сама собой, а лесной пожар, пожравший тысячи гектаров, засыпает сытым сном, наевшись его памяти.

В этой книге нет спасения мира.

В ней есть только удержание мира.

Вы увидите, как дед Слава идет косить сено, но коса взлетает сама, складывая траву в идеальные валки, потому что сама Земля не хочет отпускать такого хозяина в дом, пока работа не сделана.

Вы встретите оборотня, который устал быть волком и превратился в свинью-философа, и деда Славу, который вынужден объяснять древнему духу, что воровать картошку у бабы Нюры — это не бунт против системы, а просто дурной тон.

Вы узнаете, что Перун, бог грозы, живет не на небесах, а внутри старого колдуна, и страшно ругается, когда его заставляют лечить сломанную лапу собаке вместо того, чтобы метать молнии в грешников.

Эта книга — это не сборник рассказов. Это хроника одного села, которое стоит на краю Пустоты.

Это книга о том, как пахнет осень, когда вдыхаешь ее сквозь фильтр воспоминаний. О том, что самый страшный монстр — это забвение, а самое мощное оружие против него — теплая краюха хлеба и слово «порядок».

Если вы скучаете по детству…

Если вам хочется магии, которая не ослепляет, а греет ладони…

Если вы верите, что в каждом старом доме за печкой сидит свой домовой, а за околицей — свой бог…

…Откройте эту книгу.

Но будьте осторожны. Читая ее, вы можете внезапно почувствовать запах озона и услышать, как за вашим окном начинает ворчать далекий, недовольный гром.

Дед Слава вышел на крыльцо. Ему пора обходить свои владения.

Эта книга о том, когда боги уходят, кто-то должен остаться, чтобы держать небо.

Дым над Матырой: Хроники 1987—2026

В моем доме пахнет старыми газетами, сухой полынью и временем, которое скисло. За окном — 2026 год. За окном — мир, где люди носят компьютеры на глазах и разговаривают с чайниками. А я сижу за дубовым столом, который помнит тепло рук моего отца, и пишу это от руки. Чернила сохнут медленно, как смола на сосне.

Мой отец, которого соседи звали дед Слава, умер, когда за окном еще был двадцатый век. Кажется, это было в прошлой геологической эпохе.

Он не был похож на тех колдунов, которых рисуют в кино. Никаких черных балахонов. Он носил застиранные рубахи в клетку, от него всегда пахло махоркой и печным дымом, а в бороде вечно застревали сухие листья смородины.

Мы жили в Казинке, в избе, которая вросла в землю по самые окна, там, где река Матыра делает свой сонный, ленивый поворот.

Я помню 1987 год. Мне было двадцать один. Август плавил асфальт на станции, и воздух дрожал от жары. Я сидел на завалинке и пытался прочитать «Комсомольскую правду», но буквы расплывались.

— Ты смотришь, но не видишь, — сказал тогда дед Слава. Он вышел из сеней, неся в переднике что-то темное и копошащееся. — Глаза у тебя стеклянные. Как у витрины сельмага.

Он опустился рядом на завалинку. В переднике лежал пойманный ворон. Птица смотрела на нас черным, мудрым и злым глазом.

— Духовидение, — крякнул дед, выпуская ворона. — Это не когда ты смотришь на призраков в подвале. Это когда ты видишь, что у соседского кота на левом ухе сидит мелкая тоска размером с блоху. Или что у председателя сельсовета под сердцем воробей сдох от злобы.

Ворон каркнул, взмахнул крыльями и улетел в сторону Матыры. Но он не просто исчез в небе. Я *увидел*, как его тень на мгновение стала тенью старухи в черном платке, а потом рассыпалась черной пылью.

— Вот, — кивнул дед. — Пошел. Теперь и ты видишь.

В том году, в 1987-м, я начал записывать. Сначала в тетрадь в клеточку, химическим карандашом. Я записывал за дедом. Как заговорить кровь, чтоб не стыла. Как узнать вора по тому, как он переступает порог. Как увидеть в луже отражение того, кто тебя ненавидит, даже если он стоит за сто верст.

Отец учил меня не заклинаниям из книг. Он учил меня *слушать*. Слушать, как гудит пустая бутылка на ветру — это голос утопленника. Смотреть, как горит газета — если пламя синее, в доме будет покойник. Он учил меня Внутривидению.

— В тебе, — говорил он, пуская дым самокрутки, — есть Чаша. В солнечном сплетении. Если она пуста — ты пуст. Если там чернота — ты мертв, хоть и ходишь. Смотри туда. Смотри внутрь, пока не увидишь, какого цвета твой страх.

Время шло. Рухнул Союз.

Девяностые. Бандиты. Рэкет.

Наступили нулевые, десятые. Мир стал быстрым, глянцевым, пахнущим пластиком и озоном. Дед Слава, так звали отца соседа, умер тихо, осенью, во сне. Просто утром не проснулся. В его застывшей руке была зажата не иконка, а старый, ржавый железнодорожный костыль.

Я уехал из Казинки. Жил в больших городах. Стал писать. Мои рассказы и статьи начали печатать. В них была тоска по настоящему, по тому, как пахнет дым. Люди читали это, сидя в своих стеклянных офисах, и вздыхали. Они думали, что это красивая сказка.

А потом пришел 2026 год.

Я сижу в своей городской квартире. Вокруг меня — умные колонки, голографические экраны, еда, напечатанная на принтере. В мире не осталось места для магии. Она стала алгоритмом. Нейросети пишут стихи лучше поэтов, предсказывают будущее лучше гадалок.

Но у меня на коленях лежит старая тетрадь. Та самая, из 1987 года. Химический карандаш выцвел до цвета призрака.

Я пишу эти строки сейчас, спустя почти сорок лет после того летнего дня с вороном. Я пишу по памяти. Память — странная вещь. Она избирательна. Она стирает боль, но оставляет запах махорки деда. Она искажает факты, но оставляет истину.

Я пишу эти рассказы, потому что если я перестану это делать, дед Слава исчезнет окончательно. Он превратится в строчку в архивной книге ЗАГС: «Смерть от сердечной недостаточности». Но он не умер от недостаточности. Он умер потому, что его Чаша была полна до краев, и ему пора было перелить ее в меня.

Я знаю, что так книги больше не пишут. Сейчас пишут спринтами, по графику релизов, под запросы алгоритмов. Никто не держит сюжет книги в голове сорок лет. Но такова моя реальность.

Я смотрю в окно своей квартиры на первом этаже. Внизу течет не Матыра, а река из горящих фар машин. Но если прищуриться, закрыть один глаз и посмотреть *внутрь*, туда, где дед оставил свой дар, я вижу рябь на воде. Я слышу запах смородинового листа. И где-то там, в тени камышей, сидит старый ворон, который на самом деле — мой отец, и он терпеливо ждет, когда я допишу последнее предложение, чтобы мы вместе пошли смотреть, как над рекой встает туман.

Тетрадь заканчивается. Чернила в ручке тоже. За окном 2026 год. Но в Казинке всё ещё 1987-й. Вечный август. Дым над водой.

Я, наверно, никогда в жизни не говорил отцу:

— Я люблю тебя!

Стеснялся.

Пришло время это сказать.

Пыль над рекой Матырой

В селе Казинка, где туман над рекой Матыра пахнет канифолью и сухой полынью, живет дед Слава. Его дом — не изба, а «Лавка заброшенных сердец». Сюда приходят те, у кого внутри похолодало. Дед не читает молитв и не гадает на картах. Он чинит людей. Вдыхает тепло в замерзшие чувства, выкуривает тоску из детских глаз и собирает забытые улыбки в холщовые мешки, чтобы сжечь их в старой бочке, пока не наступила зима. Но за каждое починенное сердце он платит годами своей жизни, становясь всё прозрачнее. Это история о магии, которая пахнет медом и пылью, и о сыне Владимире, которому скоро придется принять в наследство эту бесконечную очередь страждущих.

В селе Казинка, где избы врастали в землю по самые резные наличники, а время измерялось не календарем, а скоростью зарастания тропинок спорышом, жил Станислав Федорович.

Его магия была скупа и неказиста.

Он не летал на помеле, потому что метла у него была нужна для того, чтобы мести крыльцо. Он не варил зелья из жаб, предпочитая им крепкий чай с чабрецом.

Его чудеса были бытовыми: он мог заговорить ржавый гвоздь так, что тот намертво сшивал прохудившуюся крышу, или прошептать что-то в ухо пьяному трактористу, отчего тот трезвел за секунду до того, как перевернуть машину в кювет.

Но главным его чудом, о котором в Казинке говорили только шепотом, плотно закрыв ставни, было его умение умирать.

Это случалось раз в семь или десять лет, обычно в самый разгар липового цвета, когда воздух над Матырой густел и становился золотым.

В тот год это случилось в августе.

Дед Слава просто шел по пыльной улице, неся авоську с хлебом и пачкой «Беломора».

Он кивнул соседке, улыбнулся бегущим мимо ребятишкам, а потом вдруг остановился. Его колени подогнулись, авоська упала в теплую пыль, рассыпав батон. Станислав Федорович вздохнул — тихо, с легким присвистом, как спускающий колесо — и осел на дорогу.

Его нашли через час. Матыра в тот день была особенно спокойной, и эта тишина передалась всему селу. Дед Слава лежал на спине, глядя невидящими глазами в белесое от жары небо. Пыль припорошила его седые брови. Участковый, прибывший из райцентра, покачал головой, снял фуражку и вытер пот.

— Всё, — сказал он. — Отмаялся Станислав Федорович.

Его положили в длинный, пахнущий смолой гроб. Три дня изба колдуна стояла тихая, слепая, с задернутыми занавесками. Пахло валерьянкой, ладаном и той особой, сухой пустотой, которая остается после человека.

На четвертый день, когда солнце начало плавить асфальт на единственной площади Казинки, дверь избы со скрипом отворилась.

На пороге стоял дед Слава.

На нем был тот же выцветший пиджак, в котором его нашли. На правом локте темнело пятно пыли — то самое, с дороги. Он не выглядел испуганным или удивленным. Он выглядел как человек, который просто очень хорошо выспался.

— Чаю нету, — хрипло сказал он односельчанам, которые застыли посреди улицы с ведрами и граблями. — В сельмаг сходить надо.

С тех пор так и повелось.

Дед состоял из октября и осенних листьев. Дед Слава состоял из речной воды, старой бумаги и упрямого нежелания исчезать. Его воскрешения не были похожи на библейские фанфары. В них не было ни сияния, ни ангельских труб.

Однажды он замерз насмерть в сарае зимой, когда пошел за дровами. Его нашли окоченевшим, с поленом в руке. Соседка баба Нюра причитала над ним, а когда пошла за простынями в сени и вернулась — дед Слава сидел на том же полене, красный от мороза, и растирал озябшие руки.

— Дверью, что ль, хлопнуло? — спросил он. — Сквозит у тебя, Нюра.

В другой раз он утонул. Дети видели, как он зашел в Матыру по колено, потом по пояс, потом сделал шаг в яму и исчез под водой. Мужики с баграми искали его до темноты. На следующее утро дед Слава сидел на берегу, сушил на солнце портянки и удил плотву. На вопрос, где он был, он только пожал плечами:

— Там, — сказал он, кивнув на темную, маслянистую воду. — Рыба там знатная. Только разговаривать не любит, скучные они.

Секрет его воскресений был прост и страшен, как все простые вещи. Станислав Федорович не был человеком в привычном смысле этого слова. Он был памятью этой земли.

Казинка не могла его отпустить, потому что без деда Славы она бы начала рассыпаться, как старая кинопленка. Река Матыра вбирала его в себя, когда уставала, чтобы отмыть от него усталость десятилетий, а потом выталкивала обратно на рыжий глинистый берег. Глина, из которой когда-то был слеплен первый человек, просто пересобирала его кости, сплетала заново сухожилия, вдувала в него теплый речной воздух.

Каждое его воскрешение стоило ему куска памяти.

После того, как он сгорел от удара молнии, прячась под стогом сена во время грозы, он три дня не мог вспомнить, как его зовут.

— Ты кто, отец? — спрашивали его.

— Я? — переспрашивал он, щуря на солнце пустые глаза. — Я… я тот, кто знает, куда улетают аисты.

После того, как он провалился в старый колодец и разбился о сухие камни на дне, он вернулся, но навсегда забыл, как завязывать шнурки. Он ходил в обрезанных валенках даже в июле.

С каждым разом он становился чуть прозрачнее. Чуть тише. Его контуры иногда дрожали на ярком свету, как дрожит воздух над раскаленным асфальтом.

В тот последний августовский вечер, о котором теперь в Казинке рассказывают легенды, дед Слава сидел на своем привычном месте — на перевернутом ведре у забора. Рядом терся о его колени Рыжий кот. Дед Слава смотрел на Матыру. Солнце садилось, и река наливалась тем самым густым, томатным соком.

Станислав Федорович вдруг глубоко, с наслаждением вздохнул. И выдохнул. И больше не вдохнул.

Он не упал. Он просто начал таять.

Сначала исчезли морщины на его руках. Потом седина на висках сменилась просто пустотой.

Его пиджак, висевший на невидимых плечах, еще секунду держал форму, а затем осел на ведро бесформенной кучей старой ткани.

Баба Нюра, смотревшая на него из окна, ахнула и перекрестилась. А Рыжий кот даже не дернул ухом. Он просто посмотрел на то место, где только что сидел хозяин, потом перевел взгляд на реку, потом на закатное небо.

В воздухе над забором пахло полынью, сухими яблоками и раскаленным на солнце шифером. Этот запах висел над Казинкой до самого утра.

Деда Славу больше не хоронили. Зачем хоронить пустое ведро и старый пиджак?

Теперь он живет в самом селе. Он — в скрипе колодезного ворота, когда бабы Нюра тянет ведро. Он — в том, как именно изгибается дым из труб по вторникам. Он — в тихом, бархатном гудении Матыры по ночам, когда река рассказывает старым ивам, что сегодня приняла его

окончательно, отмыла от последней человеческой боли и теперь они вместе будут ждать, когда Казинке снова понадобится воскреснуть.

А иногда, в самые тихие предрассветные часы, когда мир еще не решил, становиться ли ему явью, на крыльце пустой избы Станислава Федоровича можно увидеть теплую тень. Тень, которая сидит, поджав колени, и смотрит на восток. И если приложить ухо к старой, рассохшейся доске крыльца, можно услышать не звук, а скорее почувствовать глубокую, вибрирующую ноту. Это мурчит Рыжий кот, охраняющий сон своего колдуна, пока тот готовится к очередному, самому долгому воскресению.

Звук рвущегося шелка

В селе Казинка, где река Матыра по утрам курилась таким густым туманом, что казалось, будто Господь еще не доклеил этот край к карте мира, жил Станислав Федорович. Но для самой темноты он был Стражем.

Тревога пришла в Казинку не с дождем и не с ветром. Она пришла с тишиной. Сначала перестали лаять собаки.

Потом замолчали сверчки, хотя август только перевалил за середину. А потом Владимир, сын деда, заметил, что тени стали вести себя неправильно.

В полдень, когда солнце должно было стоять в зените, тени от заборов стали длиннее, чем вечером. Они тянулись через дорогу, как черные языки, пытаясь лизнуть ноги прохожим.

— Батя, — сказал Владимир, заходя в избу. — Что-то неладно. Тишина давит. И солнце… желтое оно. Как старый жир.

Дед Слава сидел у окна и смотрел на свой сад. Он не обернулся.

— Пришла, — проскрипел он. — Я ждал. Думал, еще год протянем, ан нет.

— Кто пришел? — не понял Владимир.

— Тень, — ответил дед. — Не просто тень от облака. А *Черная*. Та, что остается, когда уходит весь свет. Она села на деревню. И теперь будет жрать нас.

Владимир выглянул в окно. На улице всё выглядело обычно, если не считать неестественной тишины. Но потом он увидел это. У колодца стояла баба Маня. Она стояла неподвижно, глядя перед собой. А ее тень… ее тень лежала на земле отдельно. Она была в три раза больше бабы Мани, черная, как вакса, и пульсировала, словно дышала.

— Она берет их, — сказал дед Слава. Он тяжело поднялся. Кости его хрустнули, как сухие ветки. — Выпивает. Сначала свет, потом тепло, потом память. Останутся черные куклы. Ходячие мертвецы, которые не знают, что они мертвы.

— Что это, батя? — прошептал Владимир, чувствуя, как по спине бежит ледяная струйка пота.

— Порча?

— Хуже, — дед Слава подошел к старому кованому сундуку. — Это Геометр. Тот, кто пришел выправить углы. Он считает, что мы слишком шумные. Слишком яркие. Он пришел сделать Казинку плоской. Черной.

Дед достал из сундука не икону и не ружье. Он достал кусок обычного мела, которым дети рисуют на асфальте, и банку с керосином.

— Идем, — сказал он. — Нам нужно успеть до заката. Когда солнце сядет, Геометр станет плотным. И тогда он выпьет реку.

Они вышли на улицу. Воздух был густым и сладковатым, как запах тления. Тени домов ползли им навстречу. Владимир видел, как тень от их собственного забора оторвалась от штакетника и поползла к ногам отца.

— Не наступай, — бросил дед Слава. — Это уже не тень. Это щупальце.

Они пошли к центру села, к старой автобусной остановке, которая стояла на перекрестке. Именно там, по законам физики и магии, тени сходились в полдень.

— Смотри, — дед указал вперед.

На остановке сидели трое: участковый Семенов, тракторист Петька и почтальонша. Они сидели в странных позах, склонив головы. А над ними, вместо навеса, висела огромная, бесформенная черная клякса. Она опускалась всё ниже, и с каждым ее дюймом люди оседали всё глубже, превращаясь в серую, пыльную труху.

— Он их сушит, — сказал дед Слава. — Как гербарий.

Дед Слава не стал доставать мел. Он просто шагнул вперед. Он шел прямо под эту черную кляксу.

— Стой! — крикнул Владимир.

— Молчи, — не оборачиваясь, сказал дед. — Я старый. Я уже почти тень. Он меня не сразу заметит.

Он вошел под навес остановки. Черная масса качнулась, почувствовав вторжение. Она потянулась к деду. Владимир затаил дыхание. Он видел, как тень накрыла отца. Дед Слава стал серым. Его белая рубаха потемнела. Он исчезал.

Но дед Слава не упал. Он поднял руку. В ней был мел. Он не стал чертить круги или пентаграммы. Он просто провел одну линию. Прямую линию от своих ног до края навеса.

Раздался звук. Не крик, не гром. Звук был похож на то, как рвут плотный, мокрый шелк. Черная тень Геометра взвыла. Но это был беззвучный вой, от которого заболели зубы. Линия, проведенная мелом, вспыхнула неярким, но жестким светом. Это был свет старого, упрямого солнца, запертого в извести.

— Ты не Геометр, — сказал дед Слава в черную пустоту. Его голос звучал глухо, словно он говорил из-под воды.

— Ты — ошибка. Ты забыл, что у тени должна быть форма. А у формы — имя.

Он провел вторую линию, пересекая первую. Крест. Черная клякса над остановкой дрогнула. Она начала сжиматься, скручиваться, пытаясь избежать этого простого, примитивного символа. Люди на лавке зашевелились. Петька-тракторист поднял голову и бессмысленно заморгал.

— У тебя нет имени, — продолжал дед Слава, и с каждым словом его фигура становилась всё более прозрачной, черной. — А то, что не имеет имени, не имеет власти в Казинке.

Геометр издал последний беззвучный рев и начал втягиваться сам в себя. Он стекал с навеса черной, густой смолой, уходя в щели между досками, в землю, в преисподнюю, откуда пришел.

Солнце снова стало золотым. Собаки залаяли. Где-то в конце улицы заревел трактор Петьки.

Владимир подбежал к остановке. Дед Слава сидел на лавке, привалившись к стене. Он был абсолютно черным. Не от грязи, а от поглощенной тьмы. Его кожа стала цвета старого угля.

— Батя! — Владимир упал на колени.

Дед открыл глаза. В них не было белков — только два осколка тусклого золота.

— Удержал, — прохрипел он. — Но он… он во мне, Володь.

— Я отвезу тебя в район! К врачам!

— Не надо, — дед слабо улыбнулся, и улыбка его была черной. — Я теперь — памятник. Я — тень Казинки.

Он поднялся. Он шел тяжело, оставляя на пыльной дороге следы, которые были глубже, чем должны быть.

— Не бойся, — сказал он. — Теперь я буду его держать. Пока не стану совсем плоским.

Владимир шел за отцом до самого дома. Вечером, когда село засыпало, Владимир вышел покурить.

Он посмотрел на дом деда. В лунном свете дом отбрасывал две тени. Одна была обычной, короткой, от крыши.

А вторая… вторая была огромной. Она лежала через весь огород, накрывая реку Матыру черным одеялом.

Она дрожала, и Владимиру казалось, что он слышит из этой тьмы низкий, утробный гул — звук того, как старый колдун Станислав Федорович борется с Геометром за право Казинки быть объемной, цветной и живой.

В селе Казинка август всегда пах одинаково: сухим, звенящим на зубах подсолнухом, пылью, которую никогда не прибьет дождь, и сладковатой гнильцой перезрелых ранеток.

Река Матыра в это время текла медленно, лениво, как расплавленное стекло, и в ее желтой воде отражалось небо, выцветшее до состояния застиранной голубой тряпки.

Тане было десять лет. У нее были вечно исцарапанные коленки и глаза цвета той самой Матыры в предзакатный час. Август для нее был приговором — через неделю отец увозил ее на пыльном «Москвиче» обратно в город, где пахло асфальтом и столовской капустой.

В свой последний казинкский вечер Таня сбежала из дома. Она знала, где искать деда Славу. Станислав Федорович сидел на перевернутом ведре у своего плетня. Дом его, слепленный из глины и старых досок, казался самой сутью этого августа — таким же сухим, теплым и готовым рассыпаться от одного чиха.

— Дед Слав, — позвала Таня, шмыгая носом. — А почему волхвы несли золото?

Станислав Федорович не пошевелился. Он сидел, подставив лицо уходящему солнцу, и его тень за спиной была длинной, узловатой и похожей на корень старого дуба. Он медленно повернул голову. Его глаза, выцветшие за много лет до цвета речного ила, смотрели не на Таню, а сквозь нее, куда-то в саму Матыру.

— Золото? — переспросил он, и голос его заскрипел, как сухая трава. — Золото, девочка, это самая бесполезная вещь на свете. Оно тяжелое. Оно не горит. На нем нельзя спать, и его нельзя съесть, когда в животе пусто.

Он достал из кармана штопаного-перештопанного пиджака сухую былинку полыни, растер ее коричневыми пальцами, и воздух мгновенно наполнился запахом июля, забытого в ноябре.

— Люди думают, что они несли металл, — продолжил дед Слава, сдувая золотую пыль с ладоней. — Потому что люди всегда думают о тяжелом. Они строят каменные церкви, чтобы Богу было где сидеть, и куют колокола, чтобы Ему было слышно. Они глупые.

Таня подошла ближе, наступив босой ногой на теплую, мягкую пыль.

— А что тогда? — шепотом спросила она.

Дед Слава улыбнулся, и морщинки вокруг его глаз сложились в лучики, похожие на трещины на старой краске.

— Они несли время, — сказал он. — Первый волхв нес в своем ларце запах. Запах той самой ночи в Вифлееме. Запах овечьей шерсти, сырой от тумана, запах дыма от навоза и сухой, колючей соломы. Он нес запах ожидания. Если открыть его ларец сейчас, здесь, у нашей Матыры, мы бы вдруг почувствовали, как у нас замерзли ноги, и как хочется спать. Это было жидкое время.

Таня завороженно смотрела на его руки.

— А второй?

— Второй нес свет. Но не тот свет, что от лампочки Ильича. Он нес плотность света. Он нес то, как луч солнца пробивается сквозь щели в крыше сарая и в этом луче пляшут пылинки. Он нес тишину. Такую густую, что если в нее крикнуть, звук застрянет и будет висеть в воздухе до весны. Он нес цвет. Тот самый синий цвет, который бывает в небе за секунду до того, как оно станет черным.

Дед Слава замолчал. Где-то в лопухах за домом запел свою бесконечную песню сверчок. Звук был механическим, вечным, как тиканье часов, заведенных в первый день творения.

— А третий? — не выдержала Таня. — Что нес третий?

Станислав Федорович долго смотрел на реку. Матыра в этот момент поймала последний луч солнца и вспыхнула, как подожженная газета.

— Третий нес самое страшное, — наконец сказал он. — Он нес пустоту. Пустую колыбель. Он нес знание о том, что всё это — запах, свет, золото и чудеса — однажды закончится.

Он нес в своих ладонях сквозняк. Тот самый холодок по спине, когда ты понимаешь, что ты смертен, но при этом почему-то бессмертен. Он нес звук шагов, уходящих в никуда.

— Зачем они это несли? — спросила Таня. Ей вдруг стало зябко, несмотря на августовский зной.

— Затем, — дед Слава протянул свою сухую, горячую ладонь и накрыл ею Танино плечо.

— Затем, что если однажды наступит зима, когда исчезнут все запахи, когда свет станет плоским, как картон, а время превратится в серый песок, кто-то должен будет открыть эти ларцы. Чтобы мальчик, лежащий в яслях, мог снова вдохнуть запах нашей Матыры. Чтобы он знал, что солома — она на самом деле золотая, если на нее правильно посмотреть.

Он поднялся. Кости его хрустнули, как сухие ветки.

— Иди домой, Таня. Отец сигналит.

Таня обернулась. Машина действительно мигала фарами у калитки. А когда она посмотрела обратно, на плетне уже никого не было.

Только в воздухе медленно оседала пыльца полыни, пахнущая всеми прошедшими августами сразу, и на перевернутом ведре, где сидел дед Слава, остался лежать крошечный, тусклый слиток. Он не блестел. Он был тяжелым и теплым, как кусок зачерствевшего хлеба.

Таня не посмела его тронуть. Она знала, что это не золото. Это был запах тумана, который встанет над Матырой завтра на рассвете. И она уносила его в себе, в город, где пахло асфальтом, чтобы однажды, через много лет, открыть этот ларец в самом сером своем дне.

Когда Господь выключает звук

В селе Казинка снег никогда не был просто снегом. Летом он пах донником и пылью заброшенных проселков, осенью — печеным картофелем и горьким дымом, а вот зимой, в самые лютые крещенские морозы, он становился синим.

Не голубоватым в тени, как это бывает в городах под фонарями, а густым, чернильным, почти ультрамариновым. Снег лежал на крышах, как пролитые чернила, и в его глубине, если смотреть долго, не мигая, начинали шевелиться крошечные белые искры.

Дед Слава, Станислав Федорович, утверждал, что это не снег.

— Это время, — говорил он Тане, когда та прибегала к нему на крыльцо, оставляя на старых половиках мокрые полумесяцы от валенок.

— Время, Танюша, когда его становится слишком много, когда оно застаивается в январе, густеет и начинает выпадать осадком.

Изба деда Славы стояла на самом краю села, там, где рыжий глинистый обрыв падал в черную, спящую подо льдом Матыру. Внутри пахло сушеными яблоками, старым деревом и чем-то неуловимо электрическим, как перед грозой.

В тот вечер мороз стоял такой, что деревья в лесу трещали, разрываемые от корней до макушек. Таня сидела на низкой скамеечке, грозя озябшие руки у остывающей печки, а дед Слава перебирал в деревянном корыте синие, стеклянные на изломе льдинки, которые он каждое утро наколупывал с наличников.

— Зачем они тебе, дед Слав? — спросила Таня, глядя, как синие осколки переливаются в его узловатых пальцах. — Они же холодные.

— Это не холод, — усмехнулся Станислав Федорович, и его борода, заиндевевшая от дыхания, качнулась. — Это тишина. Самая чистая тишина во вселенной. Видишь, как она звенит?

Он сжал один синий осколок в кулаке. В избе вдруг стало так тихо, что Таня услышала, как в дальней комнате, за печкой, растет паутина. Она услышала, как медленно, по миллиметру, движется маятник времени.

— Летом время жидкое, — продолжал дед Слава, высыпая льдинки обратно в корыто. — Оно течет, как твоя Матыра, торопится, пузырится. Его не поймаешь. Осенью оно желтеет, как лист, и сохнет. А в январе… В январе Господь выключает звук. Чтобы отдохнуть. И всё, что остается — эта густая, замерзшая пустота.

Он достал из кармана ватника старую медную ступку. Бросил туда горсть синих льдинок. Взял тяжелый пест.

Таня замерла. Она знала, что сейчас будет.

Дед Слава ударил раз. Раздался звук, похожий на звон далекого, невидимого колокола. Ударил второй — звук был выше, чище, он, казалось, разбил стекло в окне, хотя оно осталось целым.

Он толок синие снего-время, и с каждым ударом в избе становилось светлее. Тени в углах съеживались. Запах сушеных яблок сменился запахом озона и яблоневого цвета.

— Бабка моя, — бормотал дед Слава, тяжело дыша, — покойница, Царствие ей Небесное, ругалась. Выброси, говорит, Славка, эту синь, у меня от нее в висках стучит. А я не выбрасывал. Как без этого?

Он закончил толочь. В медной ступке лежал не порошок. Там лежал густой, светящийся ультрамарином студень.

— На, — дед Слава подцепил немного этого студня старой деревянной ложкой и протянул Тане. — На язык только не клади. Дыши.

Таня послушно вдохнула.

И мир исчез.

Она не закрыла глаза, но видела всё сразу. Она видела, как под черным льдом Матыры ворочается во сне древняя рыба, старше самого села.

Она видела, как в городе, за сто километров отсюда, в бетонной коробке плачет ребенок, которому приснился плохой сон, и как этот плач превращается в серебряную нить, тянущуюся к луне.

Она почувствовала вкус самого января — сухой, колкий, пахнущий железом и вечностью. Она поняла всё. Она поняла, почему трава растет вверх, почему кошки всегда падают на лапы и почему дед Слава никогда не умрет по-настоящему.

Это длилось секунду.

Она выдохнула. В избе снова пахло печкой и старым деревом. В ступке на дне лежала просто обыкновенная синяя пыль, похожая на медный купорос.

— Что это было? — прошептала Таня. Губы ее не слушались.

— Это, — дед Слава вытер лоб рукавом, — рецепт. Против глухоты. Люди, Танюша, они ведь как собаки на цепи. Слышат только то, что у них под носом. Слышат, как сосед забор красит. А мир-то, он большой. Он поет.

Он подошел к окну. За толстым слоем льда Казинка спала. Синий снег лежал на улице тяжелым, бархатным покрывалом.

— Летом, — сказал он, глядя в темноту, — я буду ловить запах первого грома. Закатывать его в банки, как твои бабки закатывают огурцы. А зимой… Зимой мы будем дышать тишиной. Чтобы не разучиться слушать.

Таня посмотрела на свои руки. Ей показалось, что кончики ее пальцев до сих пор светятся слабым, призрачным синим светом.

Она больше не боялась уезжать в город. Она знала, что теперь у нее в кармане, невидимая для всех, лежит щепотка синего снега. И если в сером бетонном январе ей станет совсем одиноко, она просто достанет ее и вдохнет. И снова услышит, как поет вселенная.

О том, как из ушной раковины выдули осенний сквозняк

Июльская жара в Казинке стояла такая, что даже мухи ленились летать, а падали в пыль и там умирали от духоты. В такую погоду хвори обычно спят, но у бабы Нюры в избе поселился свой личный ад.

У внука её, Петьки-младшего, «стреляло» в ухе.

Отит.

Мальчишка лежал на печи, красный, как вареный рак, и выл так, что у соседей стекла дрожали.

Баба Нюра перепробовала всё: и масло камфорное лила, и над картошкой его парила, и нашептывала молитвы, которые знала от своей прабабки.

Ничего не помогало.

Боль жила в голове ребенка, как злой грызун, и каждую минуту вгрызалась всё глубже.

— Всё, — сказала баба Нюра, вытирая пот со лба. — Пойду к Славе. Хоть нечистого вызывать, лишь бы замолчал.

Приказ материи

Дед Слава сидел на завалинке и чистил луковицу. Не для еды — для дела.

Когда баба Нюра привела во двор свой «вой», дед даже не повернул головы. Он только достал из кармана чистый, белый платок, сложенный в несколько раз.

— Снимай с него шапку, — буркнул дед. — И воды мне принеси. Не из колодца, а из кадушки, что в сенях стоит. Самой теплой.

Баба Нюра метнулась в сени.

Дед Слава тем временем достал нож. Он взял самую крепкую, самую злую луковицу — ту, что снаружи сухая, а внутри слезы прячет.

— Отит, — сказал дед, глядя на луковицу. — Это, Нюра, не просто хворь. Это обида в нем сидит. На мир обиделся, вот и закрылся от звуков. А мир-то в ухо стучит, стучит, достучаться не может. Вот барабанная перепонка и лопнуть хочет.

Он начал строгать луковицу мелко-мелко, в кашицу.

Лук в его руках не плакал. Казалось, он сам отдавал сок — белый, едкий, пахнущий огнем и землей.

— Лук, он, Нюра, — антисептик божий, — бормотал дед, продолжая работу. — В нем слеза Господня. Он любую гниль выжигает. Но просто так его лить нельзя — кожу сожжешь. Его медом укрощать надо.

Баба Нюра принесла теплую воду и плошку с густым, темным медом, который дед качал на прошлой неделе.

Сборка зелья

Дед Слава плюхнул ложку меда в деревянную миску. Туда же отправил горсть луковой кашицы.

Начал месить.

Это было похоже на колдовство. Мед — густой, сладкий, успокаивающий. Лук — острый, злой, выжигающий. Они боролись в миске. Мед пытался связать, обнять, усыпить. Лук пытался вырваться, кусаться, бежать.

— А ну, смирно, — прикрикнул дед на миску. — Дело делать будем.

Он добавил каплю теплого масла — того самого, что в лампаде перед иконой горело.

— Это, — пояснил он, — чтобы проводник был. Чтобы слово мое до кости дошло.

В последнюю очередь он бросил в зелье крошку ладана, растертую в пыль.

Запах пошел такой, что в избе, казалось, не стало воздуха. Пахло раем и огородом одновременно.

— Теперь слушай сюда, — дед Слава посмотрел на бабу Нюру тяжелым, желтым взглядом. — Это не просто капли. Это — приказ.

Он зачерпнул смесь чистой деревянной палочкой. Жидкость была мутной, белой, густой.

— Лук будет грызть болезнь. Мед будет глушить боль, чтобы дитя с ума не сошло. А я… я буду держать перепонку.

Ритуал

Деда положили на лавку. Он был горячий, как печка. Дед Слава сел рядом.

— Нюра, держи его. Крепко. Если дернется — ухо порвет.

Баба Нюра села на внука верхом, обхватив его руками. Петька выл, не понимая, что происходит.

Дед Слава обмакнул мизинец в зелье.

— Открой рот, — скомандовал он мальчику. — И тяни звук «А-а-а».

Петька от удивления перестал выть и открыл рот.

Как только горло открылось, дед Слава быстрым, точным движением влил зелье в ухо. Не капнул, а именно влил, заполнив слуховой проход до краев.

— А теперь — самое главное, — прошептал дед.

Он не заткнул ухо ватой.

Он приложил к раковине свою ладонь.

И начал считать.

Но это был не обычный счет.

— Раз, — сказал он. — Тяжесть. Лук пошел вниз.

— Два, — сказал он. — Огонь. Лук начал жрать гной.

— Три, — сказал он. — Лед. Мед начал гасить пожар.

С каждым словом дед Слава чуть сжимал ладонь.

Он не просто грел. Он давил. Он физически, своим намерением, гнал лекарство внутрь, к самой перепонке.

Петька дернулся.

— Терпи! — рявкнул дед. — Она сейчас лопнет!

И тут случилось чудо.

Мальчик замер. Его глаза, полные слез, вдруг стали осмысленными.

В ухе что-то громко, влажно щелкнуло.

Чпок.

Это было похоже на звук, с которым вытаскивают пробку из бутылки.

Боль, которая мучила его трое суток, исчезла. Не уменьшилась — просто выключилась, как выключают свет в комнате.

Петька моргнул. Посмотрел на деда. Потом на бабку.

— Дед… — прошептал он. — Не болит.

Рецепт и порядок

Дед Слава убрал руку. Ладонь его была мокрой от зелья и чего-то темного, что вышло из уха.

— Всё, — выдохнул дед, утирая пот со лба. — Порядок.

Он встал, пошатываясь. Лечение чужой боли всегда забирало у него кусок собственных сил.

— А теперь слушай меня, Нюра, — дед говорил тяжело, опираясь на стол. — Я ему проход разблокировал. Но болезнь там еще сидит. Сделаешь так:

Рецепт от деда Славы (Славянский порядок для ушей):

Сок: Натереть самую злую луковицу на деревянную терку. Отжать сок через чистую тряпицу. Важно: сок должен быть свежим, лук не должен лежать на воздухе, иначе выдохнется.

Укрощение: Смешать сок с липовым медом. Пропорция — один к одному. Меда не жалей, он слизистую спасет от ожога.

Согрев: Чуть-чуть подогреть на водяной бане (поставить миску в теплую воду). Не на огне — сваришь, толку не будет. Должно быть тепло, как парное молоко.

Закапывание: По две-три капли в каждое ухо. Перед этим обязательно заставить больного открыть рот или сказать «А-а-а», чтобы проход выпрямился.

Компресс (самое важное): После того как закапал, возьми лист герани (калачика) или лопуха. Слегка помни его, чтобы дал сок, и положи за ухо. Сверху — тряпку, смоченную в теплой воде, и обвяжи старым шерстяным платком.

— Лук вытянет всю дрянь, — закончил дед. — Мед успокоит. А герань… герань — она ведь злая, она запах имеет резкий. Она болезнь пугать будет, чтобы та не вернулась.

— Батя, — подал голос Петька с лавки. — А почему вода в ухе булькает?

— Это не вода, — усмехнулся дед Слава. — Это лук плачет. Радуется, что врага нашел.

Дед взял свою трубку и вышел на крыльцо.

В избе бабы Нюры впервые за трое суток стояла тишина. Не мертвая, а живая — дышащая.

А на столе в миске осталось немного зелья. Оно пахло так, что любая хворь в радиусе версты должна была сдохнуть от одного только запаха. От одного только Порядка.

Музыка сфер

Сентябрь в Казинке выдался сухим и звонким. Воздух стал таким прозрачным, что, казалось, если ударить в него палкой, он зазвенит, как стекло.

Дед Слава сидел на завалинке своего дома и правил косу.

Но это была не обычная работа. Звук, который издавал оселок, скользящий по лезвию — вжик, вжик, — был не просто скрежетом металла. Для деда Славы это была настройка инструмента.

Он слушал Казинку.

Обычно село звучало как расстроенный рояль. Вот Петька-алкоголик ругается с женой — это низкий, вибрирующий гул, похожий на контрабас, у которого лопнула струна.

Вот председатель Семен Валерьевич кричит в телефон — это резкий, дребезжащий визг, от которого болит голова. А вот корова Зорька мычит, потому что слепень укусил — это просто фальшивая нота в середине мелодии.

Дед Слава был настройщиком.

Тишина

В этот вечер Петька не ругался. Председатель не кричал. Даже собаки не брехали.

Село замерло.

Дед Слава перестал водить оселком. Он поднял голову и прислушался.

Тишина была не пустой. Она была густой.

В ней чего-то не хватало.

Дед встал. Его старые кости скрипнули, но скрип этот был музыкальным, как звук открывающейся старой шкатулки.

— Порядок, — пробормотал он. — А порядка-то и нет.

Он знал этот недуг. Раз в несколько лет, когда лето становилось слишком жарким, а люди слишком злыми, Музыка Сфер — тот самый глубокий, низкий гул, на котором держится Вселенная — начинала сбоить. В Казинке это всегда начиналось с малого. Сначала замолкали цикады. Потом переставала петь река. А потом люди начинали забывать слова.

Владимир, сын деда, вышел на крыльцо.

— Батя, чего ты?

— Тихо слишком, — ответил дед. — Мертвая тишина. Как в могиле. Или как в городе.

Поиск частоты

Дед Слава не пошел в центр села. Он знал, что Музыка Сфер не живет в правлении или магазине. Она живет на границе.

Он пошел к реке Матыре.

Река молчала.

Она не шлепала волной о берег. Она не булькала на перекатах. Вода стояла черная, маслянистая, и в ней отражались звезды, но отражения были неподвижными, как пятна масла.

— Спишь? — спросил дед у воды. — Или оглохла?

Он присел на корточки. Он не смотрел на воду. Он слушал.

Под черной гладью, глубоко-глубоко, должен был звучать основной тон. Тот самый «Ля» первой октавы, на который настраивают всё живое.

Но там было пусто.

Дед Слава понял, в чем дело.

Матыра устала. Она текла миллионы лет, смывала горы, уносила деревья, слушала крики людей. Она отдала слишком много своей вибрации и теперь просто лежала, пустая, как выпитая бутылка.

— Надо подкачать, — вздохнул дед.

Камертон

Дед Слава встал. Он снял с себя рубаху. В свете луны его старое тело, покрытое шрамами и татуировками, похожими на древние карты, казалось высеченным из камня.

Он не стал бить в бубен. Не стал читать заклинания.

Музыка Сфер не любит суеты.

Он просто шагнул в воду.

Вода не была холодной. Она была никаким.

Дед зашел по пояс. Он раскинул руки в стороны, словно распятие. И начал гудеть.

Это был не голос. Это был звук, который рождался не в горле, а в самой груди, там, где у обычных людей душа.

М-м-м-м…

Низкий, вибрирующий звук.

Дед не пытался перекричать тишину. Он стал ею.

Он начал искать частоту.

Он менял тональность своего гудения, то повышая, то понижая его, словно крутил ручку настройки старого радиоприемника.

М-м-м… — выше.

М-м-м… — ниже.

И вдруг — попал.

Вода вокруг его ног едва заметно дрогнула.

Черная гладь пошла мелкой рябью.

Дед почувствовал это ногами — ответный толчок. Матыра услышала. Она отозвалась.

Теперь нужно было удержать.

Дед Слава начал «качать».

Он вливал свой звук в реку, как вливают воздух в спущенный мяч.

Его гудение становилось громче, заполняя собой всё пространство. Оно поднималось от ног к груди, от груди к голове.

Владимир, стоя на берегу, видел, как волосы отца, седые и легкие, начали медленно подниматься вверх, словно от сильного ветра, хотя воздух был неподвижен.

Возвращение оркестра

Звук, который издавал дед, перестал быть просто звуком. Он стал цветом.

Воздух вокруг деда Славы зазвенел синим.

И Матыра ответила.

Сначала это был едва слышный вздох. Потом — гул.

А потом река запела.

Это была не песня воды. Это была симфония.

Дед Слава стоял в центре этой музыки, как дирижер.

На другом конце села, в доме Петьки-алкоголика, который три дня молчал и смотрел в стену, вдруг что-то щелкнуло. Петька встал, вышел во двор, взял топор и начал рубить дрова. Ритм его ударов — тук-тук, тук-тук — идеально ложился в такт гудению реки.

В доме председателя Семена Валерьевича зазвонил телефон. Председатель снял трубку, послушал и вдруг улыбнулся. Он не стал кричать. Он сказал в трубку: «Понял. Сделаем». И этот спокойный голос стал виолончелью в общем хоре.

Дед Слава стоял в реке, пока луна не начала клониться к западу.

Он отдал всё.

Когда он вышел на берег, его качало. Кожа его была бледной, как снятое молоко, а глаза — тусклыми.

— Порядок, — прошептал он, падая на теплый песок.

Утро

Владимир укрыл отца тулупом. Дед уснул мгновенно, прямо там, на берегу.

А Казинка проснулась.

Утро началось не с крика петуха, а с того, что все птицы в селе запели одновременно. Не как попало, а в аккорд.

Петька-алкоголик не просто рубил дрова — он насвистывал при этом сложную, веселую мелодию, сам того не осознавая.

Река Матыра текла, и в ее шуме слышался четкий, ритмичный бит.

Владимир сидел рядом со спящим отцом и смотрел на село.

Он слышал.

Он слышал Музыку Сфер.

Она была тихой, почти на грани слуха, как шум крови в ушах. Но она была. Она связывала всё воедино: и скрип телеги, и шелест листьев, и дыхание спящего деда.

Дед Слава спал.

Во сне он улыбался.

Он был камертоном. И пока он спал, его тело, его кости и его старая, уставшая душа продолжали вибрировать, поддерживая нужную частоту, чтобы Казинка не сорвалась в тишину.

А высоко в небе, там, где звезды сходятся с синевой, Музыка Сфер звучала чисто и правильно, благодаря старому колдуну из села Казинка, который просто знал, в какой момент нужно начать гудеть.

До того, как дед Слава вошел в реку, Казинка звучала как оркестр, в котором каждый музыкант пьян, обижен и играет свою партию, не глядя на дирижера.

До настройки (Мертвая Тишина):

Это была не просто тишина, это была пустота.

Если приложить ухо к земле, не было слышно гула планеты. Был только треск сухой глины и далекий, раздражающий звон в ушах — симптом акустического вакуума.

Петька-алкоголик: Его ругань с женой звучала не как живой конфликт, а как зажеванная магнитофонная пленка. Одно и то же слово «Тряпка», повторяющееся с механической ненавистью. В этом не было энергии, только разрядившаяся батарейка.

Председатель: Семен Валерьевич кричал в трубку телефона, но звук застревал в мембране. Это был писк комара, завязшего в смоле — высокий, бессильный, вызывающий только желание прихлопнуть.

Река: Матыра не текла. Она всасывала звук. Любой всплеск, любой камень, брошенный в воду, исчезал без эха, как в вате. Вода поглотила саму возможность звука.

Процесс настройки (Вибрация):

Когда дед начал гудеть в воде, звук изменился качественно.

Сначала это был низкий, давящий на грудную клетку гул — М-м-м. Он вошел в резонанс с фундаментами домов.

В избе бабы Нюры, где перекосило пол, с печи сама собой упала старая, пыльная балалайка. Она не разбилась. Она ударилась о пол и издала чистый, глубокий аккорд.

После настройки (Возвращение Музыки):

Утром Казинка проснулась в другой тональности. Дед Слава перевел село из минорной тональности «Раздражение» в мажорную «Порядок».

Трактор Михалыча:

Старый «Беларусь», который каждое утро заводился с матом и черным выхлопом, вдруг заработал иначе. Он не просто затарахтел. Его мотор начал выдавать ровный, бархатный рокот. Если прислушаться, в этом рокоте слышался ритм: Бу-бу-дум. Бу-бу-дум. Это был бит. Михалыч, сам того не осознавая, начал переключать передачи в такт этому бит, и трактор поехал плавнее, словно танцуя.

Петька и геометрия:

Петька вышел во двор. Обычно он хлопал дверью — звук был резкий, рваный, как разрыв ткани.

Сейчас он открыл дверь, и она издала низкий, певучий скрип старых петель. Петька замер.

Он потянулся, хрустнув костями. Но этот хруст не был звуком старости. Это была кастаньета.

Он сплюнул. Слюна упала на пыльную землю не просто с шлепком, а с четким, высоким «Тцок».

Петька посмотрел на свои руки, взял топор и начал колоть дрова.

Удар. Свист. Треск.

Удар. Свист. Треск.

Он рубил дрова, но для него это впервые не было работой. Это был джаз. Он вошел в ритм, и каждый удар идеально ложился в басовую линию трактора Михалычи.

Голос Светланы:

Жена деда Славы вышла на крыльцо.

— Слава! — позвала она. — Иди завтракать!

Но звук ее голоса изменился. Раньше он был визгливым, царапающим (частота «Сварка»). Сейчас он стал объемным. Он не просто летел по воздуху — он заполнил двор. В нем появились обертоны. Казалось, что кричит не одна женщина, а три, поющих в терцию. Это было чисто, звонко и красиво. Даже соседский кот, которому наступили на хвост, не заорал, а издал музыкальную руладу, похожую на фагот.

Река Матыра:

Река перестала быть черной дырой.

Она начала булькать.

Но это не было случайным шумом воды. Каждая волна, набегая на камень, издавала стеклянный, певучий «Доннн».

Если идти вдоль берега, можно было сыграть мелодию, просто наступая на определенные камни. Вода стала ксилофоном.

Общая симфония:

Владимир вышел на улицу и закурил.

Он стоял и слушал.

Он слышал, как скрипит колодезный журавль на соседнем дворе. Но скрип этот не был мучительным. Он был флейтой-пикколо в общем оркестре.

Он слышал, как лает собака — но лай был не агрессией, а ритмической перкуссией.

Он слышал, как смеются дети, бегущие в школу. Их смех был россыпью высоких нот, похожих на звон хрусталя.

Все звуки Казинки — треск плетня, хлопанье белья на веревке, кашель стариков, гул проводов — сложились в один аккорд.

Село звучало.

Оно больше не было набором случайных шумов. Оно было инструментом, который старый колдун, лежа сейчас на берегу, настроил своим телом и своим гудением.

Музыка Сфер снова текла сквозь Казинку, и каждый житель, от председателя до последней курицы, невольно попадал в такт.

Урожай

Август в Казинке стоял сухой и звонкий, как стекло. Солнце палило так, что асфальт на единственной сельской улице пошел пузырями, а пыль стала белой и едкой, как пепел.

Дед Слава сидел на завалинке своего дома и правил косу. Лезвие издавало звук «вжик-вжик», но это был не просто звук заточки. Дед настраивал мир. Он слушал, как потрескивает от жара земля, как стонут под солнцем яблони в саду, как тяжело, с присвистом дышит река Матыра, превратившаяся в тонкую черную нитку.

К калитке подъехал «Уазик» цвета хаки. Из него вывалился председатель сельсовета Семён Валерьевич. Он был красный, как вареный рак, а галстук на его шее болтался, как петля.

— Федорыч, — просипел он, падая на скамейку рядом с дедом. — Всё. Конец. Снимут меня.

Дед Слава продолжал водить оселком. Он даже не повернул головы.

— За что на этот раз? — спросил он. — Корову в райцентре забодал или план по валенкам не выполнил?

— Хуже, — председатель достал грязный платок и вытер шею. — План по зерну. Райком требует. Чтобы в закрома Родины, значит, золото текло. А у нас, Федорыч, сам видишь. Пустыня. Колос не вяжется. Земля каменная. Если к октябрю не будет горы зерна — меня в доярки переведут. По партийной линии.

Дед Слава отложил косу. Посмотрел на председателя. Глаза деда, желтые, как старый воск, были тяжелыми.

— Ты, Семеныч, глупый, — сказал он. — Зерно, оно не от страха растет. Оно от тишины растет. А ты орешь. От тебя самого урожай сохнет.

— Да плевать мне, от чего! — взвизгнул председатель. — Мне цифры нужны! Тонны! Центнеры! Ты же колдун! Ты же вон, Петьке радикулит луком вылечил! Сделай дождь! Сделай плодородие! Я тебе… я тебе премию выпишу! Из кассы взаимопомощи!

Дед Слава тяжело поднялся.

— Пойдем, — сказал он. — Покажи мне свою беду.

Поле отчаяния

Они поехали за село.

То, что называлось «пшеничным полем», выглядело как место преступления. Земля пошла глубокими черными трещинами, похожими на шрамы. Пшеница стояла желтая, мертвая, как солома. Колосья были пустыми — ни одного зернышка. Ветер гонял по полю «перекати-поле», и оно стучало по сухим стеблям, как кости.

Семён Валерьевич стоял, опустив руки.

— Видишь? — прошептал он. — Мертворожденное. А в районе ждут. У них графики. У них диаграммы. Им не нужна правда, Федорыч. Им нужна цифра в отчете.

Дед Слава вышел из машины. Он снял сапоги. Его босые ноги ступили на раскаленную, растрескавшуюся глину.

Он не молился. Он не читал заклинаний.

Он просто начал слушать.

— Ты её насилуешь, Семеныч, — сказал дед, глядя под ноги. — Ты в неё химию лил?

— Аммиачную селитру! Три нормы! — с гордостью доложил председатель.

— Вот она и блюет, — кивнул дед. — Она от тебя защищается. Она тебе камни вместо хлеба рожает, чтобы ты от неё отстал.

Дед Слава опустился на колени. Приложил ухо к земле.

— Она устала, — сказал он через минуту. — Она старая. Ей спать надо. А вы её трактором, трактором… Ладно. Будет тебе урожай. Но учти: это будет не твой урожай. Это будет её урожай. Она тебе его отдаст, как последнюю рубашку. А потом сдохнет.

— Да хоть сдохни, лишь бы цифры были! — махнул рукой председатель, не понимая, о чем говорит старик.

Рождение Порядка

Дед Слава встал. Он был похож на сухую, черную птицу.

Он не стал махать руками. Он просто начал забирать.

Сначала он забрал жару.

Воздух над полем, который дрожал от зноя, вдруг стал плотным и холодным. Тени от мертвых колосьев стали резкими, как бритва. Председатель поежился и застегнул воротник.

Потом дед забрал влагу.

Он не звал тучи. Он вытянул воду из самой земли. Из глубоких, древних слоев, где спали мамонты. Земля под его ногами начала ссыхаться еще сильнее, превращаясь в белую, мертвую пыль. Корни пшеницы, тянувшиеся вглубь, почувствовали этот вакуум и в панике начали выбрасывать всё, что хранили.

Дед Слава стоял посреди мертвого поля с распростертыми руками.

Он был насосом. Он был черной дырой.

Он забирал жизнь из глубины и вливал её в стебли.

— Расти, — сказал он. — Отдай. Всё отдай.

И земля послушалась.

Это было не чудо в библейском смысле. Это было чудовищное, противоестественное насилие над биологией.

Сначала пожелтевшие стебли начали стремительно зеленеть. Но это была не живая зелень весны. Это был цвет гниения и лихорадки.

Затем из колосьев полезло зерно.

Оно росло на глазах.

Семён Валерьевич, открыв рот, смотрел, как пустые чешуйки набухают. Зерно лезло наружу, разрывая оболочку. Оно было огромным, с ноготь большого пальца, налитым тяжелым, желтым золотом.

Поле начало гудеть.

Это росли не только колосья. Это рос сорняк. Это росла лебеда, полынь, даже чертополох. Всё, что имело корень в этой земле, получало приказ «Расти» и выполняло его до смерти. Стебли пшеницы стали толще человеческого пальца. Они клонились к земле под тяжестью собственного зерна.

— Хватит! — закричал председатель. — Хватит, Федорыч. Уже гора! Уже элеватор не примет!

Дед Слава не слышал.

Он стоял, и его лицо становилось серым. Он отдавал земле свою собственную плотность, свою кровь, свою память, чтобы заставить мертвое выдать живое.

Колосья начали лопаться.

Зерно сыпалось на землю, образуя желтые, шевелящиеся сугробы. Пшеница рожала сама себя до изнеможения, до смерти. Поле пахло не хлебом. Оно пахло перегретым металлом и сладковатым тленом.

Цифра

Дед Слава пошатнулся.

Семён Валерьевич подскочил, подхватил его под локоть.

— Всё, — просипел дед. — Отпустил. Иди. Звони в район.

Председатель посмотрел на поле.

Это была не нива. Это был памятник ужасу. Золото, выросшее на костях.

Но в кармане лежал блокнот. Он достал карандаш. Посчитал на глаз.

— Это же… это же рекорд области, — прошептал он. Лицо его, только что бледное от страха, начало расплываться в счастливой, идиотской улыбке. — Федорыч, это же… это Героя Соцтруда! Премию! Машину вне очереди!

Он бросился к машине, забыв про деда.

— Я в район! Я звонить! — крикнул он, прыгая за руль.

«Уазик» рванул с места, поднимая клубы белой, мертвой пыли.

Последствия

Дед Слава остался стоять посреди поля.

Вокруг него шелестело золото. Но это был шелест савана.

Земля под его ногами была выжжена дотла. Она отдала всё. В ней не осталось ни капли влаги, ни грамма силы. Там, где дед стоял, земля потрескалась так глубоко, что казалось, видна сама преисподняя.

Он сделал несколько шагов.

Его ноги подкашивались.

Он упал на колени в кучу зерна. Огромные, тяжелые колосья сомкнулись над ним, скрывая его от солнца.

Семён Валерьевич гнал в райцентр. Он пел. Он был счастлив. Он видел перед собой не мертвое, изнасилованное поле. Он видел цифры. Графики. Отчетность.

«Надо же, — думал он, крутя баранку. — А говорят, чудес не бывает. Главное — стимул. Партийный стимул».

А за его спиной, над Казинкой, начало сгущаться что-то тяжелое.

Воздух стал густым.

Потому что природа всегда присылает счет за неоплаченные долги. И урожай, который не должен был родиться, всегда требует плату кровью.

Дед Слава лежал на земле, сжимая в кулаке горсть золотых зерен.

— Порядок, — прошептал он в пустое небо. — Теперь… порядок.

Но в его голосе не было радости. Только тяжесть камня.

Когда Семён Валерьевич уехал, увозя в голове только цифры и райкомовские графики, Казинка осталась наедине с тем, что сделал дед Слава.

Поле у околицы больше не было частью земли. Оно стало местом преступления, анатомическим театром, где природа вскрыла саму себя по приказу человека.

1. Геометрия ужаса

До вмешательства деда поле было просто мертвым — желтым, пыльным, высохшим. В этом была своя грустная гармония увядания.

Теперь гармонии не было. Была геометрия ужаса.

Стебли пшеницы не стояли прямо. Они были толстыми. Толщиной в палец взрослого мужчины. Эта толщина выглядела болезненной, противоестественной, как отек. Стебли были покрыты не гладкой оболочкой, а какими-то полупрозрачными, влажными пленками, похожими на кожу, которая вот-вот лопнет.

Они не тянулись к солнцу. Они клонились.

Из-за веса зерна колосья буквально лежали на земле, образовав непроходимую, золотую, шевелящуюся чащу. Это была не нива, через которую можно идти. Это была стена. Золотая, тяжелая, пахнущая сладкой гнилью стена.

2. Зерно

Семён Валерьевич видел зерно из машины, но он не видел такого.

Зерно не просто налилось. Оно взорвалось.

Чешуйки колосьев были разорваны в клочья. Зерно лезло наружу, как пена. Оно не было просто желтым. Оно имело цвет старой кости, покрытой лаком.

Оно было огромным. Каждое зернышко было размером с ноготь, но выглядело оно как опухоль. На некоторых семенах уже проступали темные, фиолетовые пятна — зерно начало разлагаться прямо на стебле, не выдержав собственной скорости роста.

Когда ветер пробегал по полю, это был не приятный шелест. Это был сухой, костяной шорох. Звук падающего песка в часах. Миллиарды тяжелых семян бились друг о друга, и этот звук напоминал шепот тысяч голосов, жалующихся на боль.

3. Земля

Самое страшное изменение произошло не сверху, а снизу.

Дед Слава вытянул влагу из самых глубоких слоев, чтобы напитать колос.

Там, где раньше была черная, жирная глина Казинки, теперь была корка. Белая.

Земля покрылась блестящим, соляным налетом, похожим на иней. Но это был не холод. Белая корка была горячей. Если наступить на нее босой ногой, она обжигала, как раскаленный кирпич.

Земля потрескалась.

Трещины были не похожи на обычные трещины засухи. Они были широкими, в ладонь, и уходили вглубь на неизвестное расстояние. Из них не пахло землей. Из них тянуло холодом склепа и запахом озона — тем самым запахом, который бывает после удара молнии. Земля была пуста. Она была выпита до дна.

4. Сорняки

Дед Слава не делал различий. Приказ «Расти» коснулся всего, что имело корень.

По краям поля, где раньше жалко желтела полынь, теперь росли джунгли.

Чертополох вымахал в два человеческих роста. Его стебли были похожи на стволы деревьев, покрытые шипами, как орудия пыток. Листья лопуха были такими огромными, что под одним листом мог спрятаться ребенок.

Вся эта зеленая масса была дряблой, водянистой и бледной. Сорняки росли в тени золотой пшеницы, и они выглядели как трупы, раздутые водой. Они тянулись к свету, но свет их уже не интересовал — они просто выполняли инерцию роста, пока не лопнут.

5. Атмосфера

Над полем стояло марево.

Но это был не жар. Это было испарение.

Поле «плакало». Зерно, разлагаясь, выделяло липкий, приторно-сладкий сок. Он капал на соляную корку земли и тут же испарялся. Воздух над полем дрожал, и в этом дрожании казалось, что золотые стебли шевелятся сами по себе, как щупальца спрута.

Птицы облетали это место стороной. Даже вороны, падкие на любое зерно, не садились на эти колосья. Инстинкт подсказывал им: здесь лежит отрава.

Единственный звук, который здесь жил, кроме костяного шелеста — это гул. Низкий, вибрирующий гул, который шел из-под земли. Земля пыталась восстановить баланс, она стонала от потери влаги, и этот звук сливался с шорохом зерна, создавая симфонию распада.

Когда Семён Валерьевич вернулся из района через три дня (на новой «Волге», выбитой под обещание рекорда), он привез с собой грузовики.

Он выпрыгнул из машины, сияя.

— Ну, Федорыч! — крикнул он в пустоту. — Где тут у нас комбайн пройдет? Красота! Золото!

Он шагнул в поле.

Его начищенный ботинок наступил на соляную корку. Раздался хруст, похожий на звук разбитого стекла.

Семён Валерьевич нагнулся, чтобы поднять колос.

Взял его в руки.

И замер.

Колос был тяжелым. Слишком тяжелым.

Но это была не радость урожая. Это была тяжесть могильной плиты.

Зерно липло к пальцам, оставляя на них желтую, маслянистую пыль и запах… запах больницы. Запах гниения и антибиотиков.

— Что… что это за вонь? — прошептал председатель.

Он поднял глаза.

Вокруг него, насколько хватало глаз, стояло золото. Мертвое, неподвижное, влажное золото. Оно не звенело на ветру. Оно ждало.

Дед Слава, сидевший на завалинке своего дома, услышал, как вдалеке заработал комбайн.

Старик поморщился, как от зубной боли.

— Порядок, — прошептал он в тишину избы. — Теперь у них есть цифры.

А поле Казинки навсегда запомнило этот урожай. Земля там больше ничего не родила. Еще сорок лет на том месте росла только черная, глянцевая полынь, и пшеница, если и пробивалась, была мелкой, серой и горькой, как память о насилии.

Реакция Казинки на «золотое» поле деда Славы была не похожа на радость перед богатым урожаем. Это был тихий, липкий ужас, который прокрался в село вместе с приторно-сладким запахом гниющего зерна.

1. Баба Нюра и «Чужой» хлеб

Первой неладное почуяла баба Нюра. Она вышла за калитку с коромыслом, чтобы проводить взглядом колонну грузовиков, которые Семён Валерьевич пригнал из района. Машины ехали медленно, тяжело, и доски их кузовов были желтыми от пыли.

Но пахло от них не пылью.

Пахло… больницей. Сладковатый, тошнотворный запах тлена и перебродившего солода тянулся за грузовиками, как шлейф.

— Свят-свят, — перекрестилась баба Нюра, прижимая к себе пустые ведра. — Это чем же так несет? Будто покойника вареным сахаром обсыпали.

Она посмотрела вслед последней машине. На дне кузова, в щелях, лежало несколько зерен. Они были огромными, неестественно желтыми, и на боку у каждого проступал темный, почти черный синяк — зерно гнило заживо.

Вечером, когда председатель привез в сельсовет первый «намолот», баба Нюра взяла одно зернышко в руки.

— Тяжелое, — прошептала она. — Как свинец. И теплое.

Она понюхала его и отшатнулась. Зерно пахло лихорадкой. Той самой жаркой, влажной вонью, которая стоит в комнате больного человека перед кризисом.

2. Петька-алкоголик и «Пьяная» тишина

Петька сидел на завалинке и смотрел на поле. Обычно вид созревшей нивы вызывал в нем трудовой зуд или желание украсть мешок «на опохмел». Сейчас же он просто сидел, и его трясло.

— Слышь, Михалыч, — дернул он соседа за рукав. — Оно… дышит.

Поле действительно издавало звук. Это был не шелест ветра. Это был влажный, хлюпающий шорох. Миллиарды гигантских колосьев, полных липкого сока, терлись друг о друга. Звук напоминал шепот тысяч пьяных людей, которые что-то бормочут себе под нос.

Петька попытался сплюнуть, но во рту пересохло.

— Оно на меня смотрит, — прохрипел он. — Михалыч, оно злое. Оно не хочет, чтобы его ели.

Михалыч, старый тракторист, который вчера чуть не угробил комбайн, пытаясь зайти на это поле, только покачал головой:

— Это не пшеница, Петька. Это наказание. Видишь, как растет? Она не к солнцу тянется. Она к земле пригибается. Тянет ее вниз.

3. Председатель Семён Валерьевич: Триумф слепоты

Для Семёна Валерьевича поле было идеальным.

Он ходил по кромке поля в начищенных ботинках (в само поле он зайти боялся — грязь там была странной, белой и горячей, она жгла подошвы), заложив руки за спину.

— Красота! — повторял он, щурясь на золото. — Это же валюта! Это же орден!

Он видел цифры. Он видел график. Он видел свою «Волгу» и мягкое кресло в районе.

Он пытался зачерпнуть горсть зерна, чтобы показать по телевизору, но зерно было липким. Оно облепило его ладонь плотной, тяжелой массой, пахнущей дрожжами и тленом.

— Эх, влажность высокая, — деловито цокнул языком председатель, вытирая руку о штаны. — Придется сушилку включать на полную. Ничего, район поможет. Ради такого дела…

Он не замечал, что птицы облетают поле стороной. Над золотой нивой не было ни одной галки, ни одного воробья. Даже вороны, вечные спутники уборки, сидели на дальней крыше сельсовета и молчали, втянув головы в плечи.

4. Владимир и «Тяжелый» воздух

Владимир, сын деда, стоял у калитки их дома. Он не смотрел на золото. Он смотрел на отца, который сидел на завалинке, серый, как пепел.

Владимир слышал поле.

Для него это была не музыка сфер. Это был диссонанс.

Каждая травинка, каждый колос на этом поле кричал. Это был беззвучный крик растения, которое заставили отдать жизнь, которой у него не было. Поле транслировало боль, и эта боль висела над Казинкой плотным одеялом.

— Батя, — сказал Владимир, присаживаясь рядом. — Оно же… оно мертвое.

— Оно переполненное, — прошептал дед Слава, не открывая глаз. — Я влил в него столько, что оно лопнуло. Оно теперь как пузырь. Тронешь — брызнет гноем.

5. Общий морок

К вечеру реакция села стала коллективной.

Люди запирали двери.

Запах с поля — сладкая гниль, запах перегретого сахара и мокрой шерсти — заполнил улицы. Он лез в окна, оседал на занавесках, пропитывал одежду.

Дети, игравшие на улице, начали капризничать. У них разболелись головы.

— Мам, голова тяжелая, — плакали они. — Как будто камней насыпали.

И это была правда. Энергетика поля была настолько плотной, что давила на психику. Люди чувствовали тяжесть в затылках, необъяснимую тоску и желание лечь и не вставать.

Собаки выли. Не на луну, а в сторону поля. Они поджимали хвосты и отказывались выходить со дворов, если их звали в ту сторону.

— Ведьмина работа, — шептались старухи у колодца, хотя именно они первыми бежали к деду за помощью. — Федорыч-то… не туда силу повернул.

— А может, и туда, — возразил Михалыч. — Может, он им так отомстил. За то, что орали. Райком хотел золота? Нате, подавитесь. Только это золото есть нельзя. Оно само кого хочешь съест.

Ночью Казинка не спала.

Поле шелестело.

И жителям в их снах казалось, что это не пшеница шумит, а кто-то огромный, лежащий под землей, ворочается во сне, набитый тяжелым, гниющим золотом, и вот-вот проснется, чтобы забрать Казинку к себе, в черную, соляную пустоту.

Папка с глупостями

В селе Казинка, где река Матыра по утрам курилась таким густым туманом, что казалось, будто Господь еще не доклеил этот край к карте мира, жил Станислав Федорович. Но для неба он был единственным честным человеком.

Владимир, его сын, знал: у отца нет икон в красном углу. Там висел старый, засиженный мухами портрет Гагарина, связка сухих трав и кусок настоящего метеорита, завернутый в холстину.

Дед Слава не ходил в церковь. Церковь была в пяти верстах, и поп там был какой-то… официальный. А дед Слава был стихийным бедствием.

В то утро Владимир застал отца на крыльце. Дед сидел, подставив лицо бледному солнцу, и бормотал. Это не было похоже на молитву. Это было похоже на разговор с бригадиром на стройке.

— Ну, чего ты там жмешься? — бубнил дед Слава, щуря выцветшие глаза. — Я тебя вижу. Прячься, не прячься. Вон, облако левее пошло, не по ветру. Исправь. И росу на капусте не смывай до обеда, ей напиться надо.

— Батя, ты это… кому? — осторожно спросил Владимир, присаживаясь рядом.

— Кому-кому, — проворчал дед, не поворачивая головы. — Ему. Наверху.

— А чего ты его не по-людски просишь? — Владимир кивнул на соседский дом, откуда доносился гулкий бас дьякона — там как раз справляли воскресную службу. — Вон, люди как люди: «Отче наш, иже еси…» А ты его критикуешь. За росу.

Дед Слава тяжело вздохнул. От него пахнуло медом и старым железом.

— Эх, Володь… «Отче наш» — это для отчетов. Это когда ты в приемной сидишь, ждешь, пока тебя примут. А я с ним в одной бригаде работаю. Мне ему не бумажки подавать надо, а по существу говорить.

Дед поднялся. Он был невысоким, но в этот момент показался Владимиру огромным, достающим головой до навеса крыши.

— Смотри, — сказал он. — Вот как надо. Слушай.

Дед Слава вышел на середину двора. Остановился. Снял кепку. Не из почтения, а просто потому, что голове было жарко.

— Эй! — крикнул он в небо. Голос его был хриплым, но летел высоко, пробивая синеву. — Ты там! Да, ты! Седой! Или кто ты там сегодня по графику!

Владимир замер с кружкой чая в руках. Он ждал грома. Или молнии. Или того, что деда сейчас ударит инфаркт.

— Я знаю, что ты там! — продолжал дед. — Хватит мне солнце в глаза пускать, я веник взять не могу, слепну! И это… того… с дождем. Ты в четверг лил, как из ведра. Я тебе что сказал? По четвергам — только по четвергам! А ты в пятницу залил, у меня малина осыпалась. Кто за малину отвечать будет? Пушкин?

Дед помолчал, словно выслушивая ответ.

— Да ладно, ладно, не обижайся, — голос деда стал мягче, в нем зазвучала медь примирения. — Я ж понимаю. У вас там, наверху, тоже план. Суета. Планеты крутить, галактики красить… Неблагодарная работа.

Он переступил с ноги на ногу.

— Ты вот что… Ты за участковым присмотри, — сказал дед совсем тихо. — Он вчера опять на гармошке играл до ночи, а сегодня злой, как собака. Жена его, Нюрка, плакала. Ты ему намекни там… молнией в столб рядом. Не в него, а рядом. Чтоб штаны сменил от страха, но живой остался. Он хороший мужик, просто запутался.

Дед снова замолчал. Лицо его, обычно суровое и в глубоких морщинах, разгладилось. Он смотрел в небо с такой тоской и такой нежностью, что у Владимира перехватило горло.

— И это… — дед сглотнул. — Мальчишку того… Сережку. С третьего дома. У него отец в городе пьет, а мать на двух работах. Ты ему, Сережке этому, во сне покажи море. А? Он никогда не видел. Пусть хоть во сне поплавает. Ему сейчас плавать надо, Володь, а то он в душе черствеет.

Дед опустил голову. Плечи его затряслись. Он не плакал. Это просто уходило напряжение.

— Я всё сказал, — прошептал он. — Дальше сам решай. Только… не по инструкции решай. По совести. Ты же ее не пропил, я надеюсь.

Дед Слава надел кепку, натянув ее глубоко на глаза. Развернулся и пошел к сараю, шаркая старыми ботинками.

— Батя, — позвал Владимир. — А он… ответил?

Дед остановился в дверях сарая. Посмотрел на небо. В ту же секунду, прямо над крышей их дома, в чистом, безоблачном небе сверкнула тонкая, ветвистая, фиолетовая молния.

Грома не было. Только тихий, сухой щелчок, похожий на удар ногтя по стеклу. И запахло озоном и почему-то свежим хлебом.

Дед Слава хитро улыбнулся, блеснув желтым зубом.

— Ответил, — сказал он. — Сказал: «Слав, отстань, у меня планерка». Но про участкового записал. Я видел. У них там, наверху, на каждого из нас папка заведена. Только они в ней не грехи наши пишут. Они там наши глупости записывают. И смеются.

Владимир сидел на крыльце, глядя, как дед уходит в полумрак сарая. Из-за реки, со стороны церкви, все еще доносилось унылое, монотонное пение хора. «И избави нас от лукавого…» Владимир посмотрел на свои руки. Потом на небо.

Он вдруг понял, что дед Слава только что сделал. Он не просил. Он не клянчил. Он разговаривал с Вселенной как отец с сыном, который уехал на заработки и немного подзабыл о доме.

— Дед! — крикнул Владимир. — А мне можно? Своими словами?

Дед Слава высунул голову из сарая. Луч солнца упал на его седую бороду, превратив ее в золотую.

— А ты как думаешь? — крикнул он. — Он же не глухой. Он просто оглох от ихнего «аминь». Ты ему про жизнь скажи. Про то, что болит. Он это любит. Это единственное, что в нас настоящее.

Дед скрылся в сарае. А Владимир сидел, смотрел на Матыру и пытался подобрать слова. Не из книги. Свои. О том, что у него ботинки прохудились, но зато картошка уродилась. О том, что он вчера обидел кошку. О том, что он просто хочет, чтобы всё это — туман, река и старый ворчливый отец — было всегда.

И когда он наконец прошептал свои первые слова, где-то высоко в синеве, за пределами облаков, огромный, уставший, седой Мастер отложил свои чертежи, прислушался и улыбнулся.

Янтарная женщина

Не красотка она это женщина, что пришла в гости к деду Славе.

Страшная, как моя жизнь…

Сентябрь в Казинке выдался прозрачным и звонким, как стекло. Воздух был таким чистым, что, казалось, если ударить в него палкой, он зазвенит.

Дед Слава сидел на завалинке и правил косу. Звук «вжик-вжик» был единственным в сонной тишине полудня.

Калитка скрипнула. Но скрип этот был не веселым, деревянным, а ржавым, надсадным, похожим на крик птицы, попавшей в силок.

На двор вошла женщина.

Дед Слава не поднял головы, но пальцы его, державшие оселок, замерли.

Он знал всех в Казинке. Эта была не из села. И даже не из района.

Она была одета в черное пальто, хотя жара стояла под тридцать. Пальто было старое, траурное, пахнущее нафталином и сыростью склепа.

Лицо женщины скрывала тень от полей шляпы, но даже тень не могла скрыть того, что было под ней.

Кожа её была тонкой, как пергамент, и туго натянутой на кости.

Нос был острым, как клюв. Губы отсутствовали вовсе, обнажив полоску мелких, желтоватых зубов. Но страшнее всего были глаза.

Огромные, черные, лишенные белков, они занимали пол-лица и в них не отражалось солнце. В них вообще ничего не отражалось. Это были два провала в пустоту.

— Федорыч, — голос её был похож на шелест сухих листьев. — Мне сказали, ты порядок наводишь.

Дед Слава медленно поднял взгляд. Желтые, как у совы, глаза встретились с черной пустотой. Дед почувствовал, как из него самого начинает тянуть тепло. Гостья высасывала воздух из пространства.

— И кто ж тебе сказал? — спросил дед, не выпуская оселка.

— В районе, — прошелестела она. — В конторе. Сказали, ты чудеса делаешь. Радикулиты лечишь. Дожди вызываешь.

Она сделала шаг вперед. От нее пахло не человеком. Пахло старой бумагой, формалином и пылью заброшенных библиотек.

— Мне тоже нужно чудо, — сказала она. — Я хочу быть красивой.

Дед Слава хмыкнул.

— Красота, милая, она разная бывает. Тебе какой сорт нужен? Как у розы? Или как у молнии?

— Мне нужно, чтобы на меня смотрели, — её голос стал чуть громче, в нем прорезалась вибрация. — Чтобы не отворачивались. Чтобы видели женщину, а не… это.

Она сняла шляпу.

Дед Слава сглотнул.

Череп. Обтянутый кожей череп с редкими, сальными прядями волос. Это было лицо смерти, которая забыла забрать свою хозяйку и решила пожить в её теле.

— Ты смерти не бойся, дед, — улыбнулась она, и кожа на щеках натянулась так, что едва не лопнула. — Я с ней в родстве. Я — Архивариус. Я те бумаги, что ты в реке топил, читаю. Я знаю, что ты сам — почти порядок. Почти пустота.

Дед Слава отложил оселок. Встал.

Он был на голову выше её, но сейчас чувствовал себя маленьким.

— Чего ты хочешь? — спросил он прямо. — Плоть нарастить? Мясо на кости?

— Нет, — она покачала головой. От этого движения её шея издала сухой треск. — Мясо — это временно. Это гниет. Я хочу внимание. Я хочу, чтобы мужчины смотрели на меня и забывали дышать. Чтобы женщины завидовали до икоты. Я хочу быть… эталоном.

Дед Слава прищурился. Он понял. Она не хотела быть живой. Она хотела быть иконой. Идеальным, пугающим совершенством.

— Это дорого стоит, — сказал дед. — Красота — она ведь не в зеркале. Она в глазах смотрящего. Чтобы тебя такой увидели, я должен забрать это зрение у других.

— Забирай, — легко согласилась она. — Мне не жалко. У Петьки-алкоголика всё равно глаза залиты. У председателя — в бумагах. Бери.

— Не их, — отрезал дед. — Я у Казинки заберу. У всех разом.

Рецепт красоты

Дед Слава вошел в избу. Женщина осталась стоять во дворе, прямая, как шпиль.

Он вернулся с двумя вещами: с банкой липового меда и острым, как бритва, ножом из овечьей кости.

— Раздевайся, — скомандовал он.

Она сбросила черное пальто. Под ним не было ничего. Только тот же пергамент, туго обтягивающий скелет. Ребра проступали четко, как клавиши рояля.

Дед Слава зачерпнул мед. Теплый, золотой, пахнущий лугом.

— Стой смирно, — сказал он.

Он начал мазать её медом.

Но это было не просто обмазывание. Он вдавливал мед в её кожу.

Где мед касался пергамента, кожа начинала светиться изнутри. Не розовым светом жизни, а холодным, лунным, мраморным сиянием.

Мёд не впитывался. Он становился частью её. Кожа из пергаментной превращалась в полупрозрачный янтарь.

— Ты хотела эталон? — бормотал дед, обходя ее кругом. — Будет тебе эталон.

Он взял костяной нож.

— Не бойся, — сказал он гостье. — Я не кровь пущу. Я память пущу.

Он провел лезвием по своему пальцу. Выступила черная, густая кровь — кровь колдуна, пахнущая грозой.

Он коснулся её лба, переносицы, подбородка. Рисовал узоры.

— Я забираю у села право видеть изъяны, — шептал он. — Я забираю усталость. Я забираю опыт. Я забираю способность сравнивать.

Женщина стояла, закрыв глаза. Она впитывала это. Её тело начало меняться.

Сутулость исчезла. Кости под янтарной кожей выстроились в идеальную, математически выверенную пропорцию. Она становилась высокой, неправдоподобно стройной.

Но лицо… Лицо становилось пугающим.

Оно было совершенным.

Слишком совершенным.

Кожа — фарфор, без пор. Губы — идеальной формы, но неподвижные, как у куклы. Глаза… когда она их открыла, они всё ещё были черными, но теперь в этой черноте горел холодный, гипнотический огонь.

— Порядок, — выдохнул дед Слава, падая на скамейку.

Он был бледен как смерть. Он отдал ей не мед. Он отдал ей внимание всей Казинки.

Триумф

Она провела руками по своему новому телу. Улыбнулась.

Улыбка была красивой, но от неё веяло могильным холодом.

— Спасибо, дед, — сказала она. Голос ее теперь звучал как музыка — чистая, но неживая. — Теперь они увидят.

Она вышла со двора.

Дед Слава сидел, тяжело дыша. Он чувствовал, что село ослепло. Не физически. Казинка потеряла способность видеть суть. Они теперь будут видеть только форму.

Это случилось через час.

Мимо дома деда проходила баба Нюра. Она шла к колодцу, но вдруг остановилась. Остановилась как вкопанная. Она смотрела на улицу.

По улице шла Она.

Баба Нюра выронила ведра. Вода разлилась, но Нюра этого не заметила.

— Царица… — прошептала она. — Пресвятая Богородица…

По улице шла статуя.

Женщина из черного мрамора и лунного света. Каждое её движение было выверено. Она не шла — она плыла над пылью.

Петька-алкоголик, ковыляющий к магазину, увидел её и рухнул на колени прямо в лужу. Он пополз к ней, протягивая руки, не видя грязи.

— Богиня… — рыдал он. — Не погуби!

Семён Валерьевич, председатель, выбежал из конторы с бумагами. Увидел её. Бумаги выпали из его рук. Он схватился за сердце, но не от страха — от восторга.

— Какая линия… — прошептал он. — Какой профиль… Вези меня в область, я сейчас же… в музей… в рамку…

Женщина шла по Казинке.

Мужчины бросали работу. Они бросали топоры, косы, рули машин. Они стояли вдоль дороги, разинув рты, пуская слюни. Они не видели смерти. Они видели Совершенство.

Женщины выбегали из ворот и тут же падали в обморок или начинали рвать на себе волосы от зависти, которая выжигала им глаза.

А она шла.

Она впитывала их взгляды. Каждый взгляд был для нее как глоток воды. Она становилась всё ярче, всё холоднее, всё мертвее. Она питалась их вниманием, их способностью видеть красоту, и превращала это в лед.

Дед Слава смотрел на это из окна.

— Порядок, — прошептал он. — Теперь у них есть на что смотреть.

Но сам он видел её иначе.

Его колдовское зрение не было отдано.

Он видел не богиню.

Он видел скелет, обтянутый янтарной пленкой, внутри которой копошились черные муравьи пустоты. Он видел Архивариуса, который украл у людей зрение, чтобы спрятать за этой красотой свою собственную гниющую суть.

Она дошла до конца улицы и повернулась.

Ее идеальный профиль скользнул по дому деда Славы.

Она улыбнулась ему на прощание.

И пошла дальше, в район, где её ждали райкомовские секретари, которые тоже хотели видеть только эталон.

А Казинка осталась стоять.

Слепая, счастливая, влюбленная в мраморный призрак, который выпил их души через глаза.

Дед Слава закрыл ставни. Внутри было темно. Но в этой темноте он хотя бы видел правду.

Когда радуга падает в малину

В селе Казинка, где река Матыра по утрам курилась таким густым туманом, что казалось, будто Господь еще не доклеил этот край к карте мира, жил Станислав Федорович. Но для радуги он был хозяином.

Владимир, его сын, знал: радуга — это не просто преломление света в каплях воды. Это чертеж. И дед Слава был единственным человеком в округе, кто умел читать эти чертежи.

В то утро дождь закончился внезапно, словно кто-то наверху просто перекрыл кран. Воздух пах озоном и мокрой пылью. Владимир вышел на крыльцо и замер.

Радуга была не такой, как обычно. Она не стояла дугой над лесом. Она начиналась прямо в огороде деда, у старой яблони, и уходила другим концом в окно бани.

— Батя! — крикнул Владимир в сени. — Она опять пришла.

Дед Слава вышел на крыльцо. Он был одет не в линялую рубаху, а в свой старый, парадный пиджак, на котором тускло поблескивала медаль «За отвагу». Лицо его было серьезным, как на похоронах.

— Семицветная, — проскрипел он. — И стоит низко. Значит, тяжелая.

— Что в ней тяжелого? — удивился Владимир. — Красота одна.

— Красота — это когда смотришь, — отрезал дед. — А когда живешь рядом с ней, это вес. Каждый цвет — это тонна груза. Радуга, Володь, — это слезы мира, которые высохли на солнце. И когда она падает так близко, она ищет, куда бы эти слезы вылить.

Дед Слава сошел с крыльца. Он не пошел — он поплыл по мокрой траве, едва касаясь земли. Владимир знал: сейчас отец не здесь. Он там, в спектре.

— Куда она бьет? — спросил Владимир, догоняя.

— В малину, — ответил дед. — Прямо в центр куста. Видишь, как ягоды налились? Они сейчас лопнут. Радуга хочет отдать им свою силу. Но если малина возьмет слишком много, она станет стеклянной. Сладкой, но мертвой.

Дед Слава остановился у края радуги. Она гудела. Это был низкий, вибрирующий звук, похожий на работу высоковольтной линии. От него ныли зубы.

— Семь нот, — сказал дед. — Семь дверей. Красная — гнев. Оранжевая — похоть. Желтая — память. Зеленая — зависть. Голубая — тоска. Синяя — правда. Фиолетовая — смерть.

Он протянул руку. Его пальцы, желтые от никотина, прошли сквозь красную полосу. Владимир увидел, как кожа на руке отца на мгновение стала прозрачной, а вены вспыхнули, как раскаленные провода.

— Горяча, — выдохнул дед. — Кто-то в деревне сегодня до смерти разругается. Слишком много красного. Перебор.

Дед Слава начал работать. Это был не танец и не колдовство в привычном смысле. Это была тяжелая физическая работа. Он стал живым фильтром.

Он встал под самой дугой, раскинув руки. Радуга ударила в него. Владимир видел, как по телу отца текут цвета. Красная полоса стекла по его левой ноге и ушла в землю. Земля в том месте задымилась — гнев был выпит. Оранжевая прошла через живот. Дед крякнул, согнувшись — это было тяжело, слишком телесно. Желтая ударила в грудь.

Дед Слава выпрямился. Его глаза на секунду стали абсолютно золотыми, как у тигра. Он вспомнил всё. Свою молодость, войну, первую жену, запах антоновки.

— Зеленая, — прохрипел дед, когда полоса цвета молодой листвы коснулась его ладоней. — Самое мерзкое. Зависть. Она липкая.

Зеленый свет тек по его рукам, но не впитывался. Дед Слава сжимал и разжимал кулаки, словно месил невидимое тесто. Он вытягивал зависть из радуги, как вытягивают занозу.

— Голубая, — считал дед. — Тоска. Легкая, но ее много.

Голубая полоса окутала его голову, как облако. Дед Слава заплакал. Слезы текли по его морщинистым щекам, но это были не слезы боли. Это была чистая, дистиллированная печаль всех людей, которые когда-либо смотрели в небо и грустили.

— Синяя, — голос дева стал твердым, как сталь. — Правда.

Синяя полоса вошла в его глаза. Владимир увидел, как отец смотрит на него, но видит насквозь. Видит каждую его ложь, каждый страх, каждую невысказанную мысль. Владимиру стало стыдно и холодно.

— Прости, сын, — сказал дед. — Правда всегда холодная.

Последней шла фиолетовая. Цвет смерти. Цвет королевской мантии. Цвет конца. Она коснулась макушки деда. Он замер. На мгновение Владимиру показалось, что отец умер. Он стал серым, плоским, как вырезанная из картона фигурка.

А потом фиолетовый свет вспыхнул внутри деда, как маленькая сверхновая. Дед Слава выдохнул. Из его рта вырвалось облачко чистого, белого пара.

— Всё, — сказал он. — Отпустил.

Радуга над огородом дрогнула. Она больше не гудела. Она стала бледной, прозрачной, как марля. И начала таять. С того конца, что уходил в баню.

Дед Слава стоял посреди огорода, тяжело дыша. Его пиджак был мокрым от пота и росы. Лицо стало белым, как молоко.

— Тяжелая нынче радуга была, — прохрипел он. — Много в ней накопилось. Лето жаркое, люди злые.

Он посмотрел на малиновый куст. Ягоды на нем были обычного, рубинового цвета. Сладкие. Живые.

— Я взял на себя, — сказал дед, опираясь на плечо Владимира. — Если бы я не встал под нее, она бы ударила в крышу сельсовета. Или в школу. Сгорело бы все к чертовой матери от такого напряжения. А так… распределила по старику.

Владимир обнял отца. Он чувствовал, как дрожат его кости.

— Зачем тебе это, батя? — спросил он. — Ты же каждый раз после этого неделю встать не можешь.

Дед Слава поднял голову. В его глазах еще плескалась синева правды.

— А кто, если не я, Володь? — тихо сказал он. — Радуга — она ведь не просто свет. Это обещание. Обещание, что после потопа будет жизнь. А обещания, сынок, нужно держать. Даже если для этого приходится стоять под разноцветным ливнем и впитывать в себя всё дерьмо этого мира, чтобы на выходе остался только свет.

Они пошли к дому. Солнце припекало. От мокрой земли поднимался густой, сладкий пар.

— Иди, поставь чайник, — сказал дед. — И достань мед. Сегодня он будет пахнуть не цветами, а грозой. Я его немного… электричеством подкормил.

В селе Казинка, где река Матыра по утрам курилась таким густым туманом, что казалось, будто Господь еще не доклеил этот край к карте мира, жил Станислав Федорович. Но для самой ткани реальности он был тем, кто следит за швами.

Его сын, Владимир, мужчина тридцати трех лет с руками, привыкшими к рулю трактора, знал: отец не просто живет. Он дежурит.

В то утро дед Слава вышел на крыльцо позже обычного. Солнце уже стояло высоко, но оно было… тусклым. Словно кто-то закоптил лампочку Ильича в небе.

— Батя, — окликнул его Владимир, чинивший крыльцо. — Ты чего бледный? Опять давление?

Дед Слава не ответил. Он смотрел на яблоню. Яблоки на ней, обычно наливные, красные, как щеки девки на выданье, сегодня были серыми. Пепельными. Как будто их посыпали дорожной пылью, хотя дождя не было неделю.

— Цвет уходит, — проскрипел дед Слава. — Выцветает.

— Так осень же, батя, — пожал плечами Владимир.

— Осень — это когда листья желтые, — отрезал дед. — А это… это когда мир забывает, какого он цвета.

Дед Слава сошел с крыльца. Земля под его ногами была не коричневой, а грязно-бежевой. Он прошел в сад, к старой бочке с водой. Зачерпнул ладонью. Вода была прозрачной, но в ней не отражалось небо. В ней отражалась только серая пустота.

— Звони в район, — сказал дед, не оборачиваясь. — Скажи, что у нас тут… системный сбой.

— Какой сбой? — не понял Владимир.

— Краски кончились, — дед Слава выпрямился, и Владимир с ужасом увидел, что глаза отца стали бесцветными, как речная галька.

— Они там, наверху, палитру меняют. Переходят на минимализм. Черно-белое кино. Дешевле обходится.

Дед Слава пошел в сарай. Владимир поплелся за ним. Внутри, в полумраке, пахло не только травами, но и машинным маслом. На верстаке стоял старый, еще советский, фотоувеличитель. Дед Слава смахнул с него пыль.

— Садись, — кивнул дед на табурет. — И не дыши громко.

— Батя, ты чего удумал?

— Я удумал спасать Казинку, — дед Слава достал из ящика жестяную банку. В ней был не порох. Там был перетолченный в пыль янтарь, смешанный с соком черники и чем-то, что пахло детством.

Дед Слава начал работать. Он не колдовал в привычном смысле. Он работал как реставратор. Он взял кисть — старую, с облезлым синтетическим ворсом. Обмакнул в свою пыль.

— Смотри, Володь, — сказал он. — Видишь этот угол сарая? Какого он цвета?

— Серого, — ответил Владимир.

— Неправильно, — дед Слава мазнул кистью по углу. — Он цвета «дед Степан рубил дрова в сорок восьмом».

И Владимир увидел. Сарай на секунду вспыхнул. Он стал рыжим, пахнущим смолой и керосином. На стене проступила тень от топора, которой там никогда не было.

— Они думают, — бормотал дед, работая быстро, как одержимый, — что если убрать цвета, люди станут меньше грешить. Меньше чувствовать. Меньше хотеть. Сделают из нас идеальный офисный планктон. Серые костюмы, серые мысли.

Он перешел к яблоне. Коснувшись ствола, он прошептал:

— А ну, помни. Ты — зеленая. Ты — боль в спине, когда собираешь урожай. Ты — сок на пальцах.

Яблоня вздрогнула. Серый налет осыпался с нее сухой крошкой. Листья стали изумрудными, а яблоки — рубиновыми. От них пошел такой густой, сладкий запах, что у Владимира закружилась голова.

— Это не магия, сынок, — пропыхтел дед Слава, пот градом катился по его лицу, смывая обычную старческую бледность, возвращая лицу румянец. — Это напоминание. Мы должны напомнить материи, чем она была. Иначе она поверит, что она — ничто.

Дед работал весь день. Он прошел по всей Казинке. Он коснулся воды в Матыре — и река снова стала тяжелой, синей, пахнущей илом и рыбой. Он коснулся дороги — и пыль стала золотой от вечернего солнца. Он коснулся дома бабы Нюры — и с крыши исчезла ржавчина, уступив место краске цвета «беззаботный июль».

К вечеру дед Слава вернулся на свое крыльцо. Он был пуст. Не прозрачен, как раньше, а именно пуст. Как выпитая чашка. Он сел, привалившись к перилам. Его рубаха была серой от пыли, но теперь эта пыль была цветной — красной, синей, желтой.

— Тяжело, — прохрипел он. — Когда красишь мир, сам становишься холстом. Всё впитывается.

Владимир сел рядом. Он смотрел на село. Казинка гудела. Мычали коровы, лаяли собаки, где-то далеко бренчала балалайка. Мир звучал. И он был невыносимо, до боли в глазах, цветным.

— Зачем ты это делаешь, батя? — тихо спросил Владимир. — Ты же… сдуешься.

— А кто, если не я? — дед Слава слабо улыбнулся. — Поп в районе? Он только черным и белым умеет — грех и покаяние. А жизнь, Володь, она не черная и белая. Она фиолетовая. Как кошка, что вчера по забору ходила. Она липкая, как малиновое варенье. Она звенит, как комар над ухом.

Он достал из кармана помятую фотографию. На ней была молодая женщина в ситцевом платье.

— Я сегодня синий спасал, — сказал дед. — Самый тяжелый цвет. Цвет тоски по тем, кого нет. Если бы он исчез, я бы забыл ее лицо. А я не хочу забывать.

Солнце село. Но закат не был серым. Он полыхал таким багровым пожаром, что казалось, небо сейчас расплавится. Дед Слава сидел, закрыв глаза. Он дышал ровно.

— Пойдем, Володь, — сказал он, не открывая глаз. — Поставь чайник. И меда достань. Сегодня он будет пахнуть не просто цветами. Он будет пахнуть победой.

Владимир зашел в дом. Оглянулся. Дед Слава сидел на крыльце, маленький, сгорбленный, но вокруг него воздух дрожал и переливался, как над костром.

Он держал Казинку в своих ладонях, не давая ей провалиться в бесцветное небытие. И пока он сидел там, мир имел право быть настоящим.

Когда бумага выплевывает буквы

В августе Казинка всегда гудела.

Но не тем привычным, ленивым пчелиным гулом, который тянется над лугами, а сухим, жестяным, царапающим слух звоном.

Солнце палило нещадно, выжигая траву до состояния желтой щетины, и река Матыра обмелела так, что в ее желтой воде стали видны спины спящих на дне валунов.

Дед Слава, Станислав Федорович, сидел на крыльце и чистил старую, помятую тульскую гармонь.

Его пальцы, похожие на сухие сучья, ловко перебирали перламутровые пуговки, но музыки не было. Был только сухой, ритмичный стук.

Таня, пробегавшая мимо с бидоном за молоком, остановилась.

— Дед Слав, а чего саранчи так много? — спросила она, кивнув на заросли лопухов у забора.

— Они вчера все подсолнухи сожрали. Бабка плачет.

Станислав Федорович не поднял головы. Он нажал на мех, и гармонь издала тихий, астматический вздох.

— Это не саранча, — сказал он своим скрипучим голосом, в котором всегда слышался запах осенних листьев и старого клея.

— А кто же? — удивилась Таня. — Ножки тоненькие, крылья слюдяные, грызут — только хруст стоит. Саранча и есть.

Дед Слава отложил гармонь. Он посмотрел на лопухи. Там, в тени, действительно происходило движение. Казалось, что земля у корней дышит, переливаясь темным, маслянистым блеском.

— Это буквы, — сказал дед Слава.

Таня моргнула.

— Какие буквы?

— Обыкновенные. Аз, Буки, Веди. Только они устали лежать в книгах. Им стало скучно.

Он встал, кряхтя, и подошел к забору.

Протянул руку к лопуху. Огромная, жирная тварь с крыльями цвета бутылочного стекла тут же перепрыгнула прямо на его сухую ладонь. Таня взвизгнула и отшатнулась.

— Тише, — поморщился дед. — Не бойся. Она не кусается. Она читает.

Он поднес ладонь ближе к своим выцветшим глазам. Саранча сидела смирно, сложив крылья домиком, и мелко-мелко перебирала в воздухе передними лапками, словно перелистывала невидимую страницу.

— Видишь? — прошептал Станислав Федорович. — Это «Г». Горизонт. Или «Горе». Они ищут, где бы присесть. Каждое лето они выползают из старых, рассыпающихся в прах газет, из чернильных пятен на промокашках, из пыли, что лежит на чердаках под стопками писем. Когда слов становится слишком много, а бумаги — слишком мало, бумага их отрыгивает.

Он осторожно пересадил насекомое на штакетник.

— Они летят туда, где растет что-то живое. Подсолнух, пшеница, яблоня. Потому что любое растение — это тоже текст. Корни — это завязка. Стебель — развитие сюжета. А семечки — это концовка. Хорошая, жирная точка.

Они съедают не зерно, Танюша. Они выедают смысл. Съели подсолнухи, и лето потеряло свою главную главу. Больше не будет масла, не будет щелканья семечек на завалинке, не будет желтого цвета в палитре августа. Осталась только пустая строка.

Таня смотрела на полчища насекомых, перелетающих через дорогу. Теперь, после слов деда, это действительно выглядело не как нашествие насекомых, а как страшная, безмолвная библиотека, сорвавшаяся с полок. Черные строчки, ползущие по желтым страницам полей.

— А гармонь? — спросила девочка, чтобы не заплакать от страха. — Зачем тебе гармонь, если они всё съедят?

Дед Слава улыбнулся, и его лицо пошло глубокими, сухими трещинами.

— А гармонь — это моя сеть. Слова, они ведь летят на тишину. А музыка — это самый густой, самый сладкий нектар из всех слов. Если я сейчас растяну меха и ударю по кнопкам, они забудут про подсолнухи. Они подумают, что это самая красивая поэма на свете. Они сядут на лады, на меха, на плечи… И будут слушать.

Он поднял инструмент. Пальцы его замерли над кнопками.

— Хочешь, я их позову? — спросил он. — Мы прочитаем им «Буря мглою небо кроет». Они будут сидеть смирно, пока не кончится последний куплет. Им ведь просто холодно и одиноко в этом пустом августе. Им нужно, чтобы кто-то сложил их в слова.

Таня замерла. Воздух дрожал от сухого звона миллионов крыльев. Это было похоже на шелест гигантской, перелистываемой ветром книги.

— Играй, — прошептала она.

Дед Слава растянул потрескавшиеся меха.

Из гармони не полилась мелодия. Полился мед. Густой, тягучий, пахнущий детством, парным молоком и пылью старого сундука.

Это была не музыка, а сама суть дома, сама память о тепле.

И случилось чудо.

Сухой, злобный шелест крыльев начал стихать. Черная туча над лопухами дрогнула.

Миллиарды насекомых, словно подхваченные невидимым сквозняком, потянулись к крыльцу. Они не гудели. Они падали. Они садились на перила, на ступеньки, на старую кепку, забытую на гвозде. Они облепили плечи деда Славы, превратив его в странную, шевелящуюся шубу из эбенового дерева.

Таня стояла, боясь дышать.

На ее плече сидела одна саранча. Девочка осторожно, одним пальцем, погладила ее по глянцевому боку. Насекомое не шелохнулось. Оно слушало.

Дед Слава играл «Степь да степь кругом». И пока он играл, саранча не съела в Казинке больше ни одной травинки. Она пила звуки.

Она насыщалась тоской по ушедшей любви и радостью возвращения домой.

Когда последний аккорд растаял в раскаленном воздухе, дед Слава сложил гармонь.

Тишина, обрушившаяся на село, была такой плотной, что ее, казалось, можно резать ножом.

Таня посмотрела на свои плечи.

Они были чисты. Чисто было и на крыльце. Только у самого порога лежала одна-единственная, мертвая, высохшая саранча. Девочка присела рядом. На крыле насекомого, если присмотреться, можно было различить тиснение.

Тонкие, золотые, почти невидимые буквы, складывающиеся в слово, которое Таня не знала, но которое почему-то заставило ее сердце сжаться от светлой грусти.

— Они улетели? — спросила она.

— Нет, — ответил дед Слава, вытирая вспотевший лоб. — Они вернулись в библиотеку. В «Тихий Дон», в «Муму», в старые подшивки «Огонька» за шестьдесят четвертый год. Я просто напомнил им, как пахнет бумага.

Он посмотрел на выжженное поле, где еще вчера стояли золотые подсолнухи.

— Ничего, — сказал он. — Придет весна. Напишем новые. Чернилами, из земли.

Вторая половина

Октябрь в Казинке пах антоновкой и мокрой землей. Дни стали короткими, а тени — длинными и тяжелыми, как забытые грехи. Дед Слава сидел на завалинке и чинил сеть. Не рыболовную, а старую, пыльную, которой, по слухам, он когда-то ловил туманы.

К калитке подошел старик.

Это был Фома, местный печник.

Вдовствовал он уже пятый год. После смерти Марфы Фома не то чтобы сдал — он как-то опал, словно свеча, с которой убрали фитиль. Он продолжал класть печи, и они стояли ровно, но сам он стал кривым, как старый гвоздь, забитый не под тем углом.

— Федорыч, — просипел Фома, теребя в руках кепку. — Выручай. Сгнию я так.

Дед Слава даже не поднял головы от узлов.

— Сгниешь, — согласился он. — Все гниют. Это порядок. Земля любит свое.

— Не хочу в землю, — Фома переступил с ноги на ногу. — Хочу, чтобы рядом кто-то дышал. Чтобы ложка по столу стучала. Марфа-то моя, царствие ей, половником так звенела, когда борщ мешала, что стекла дрожали. А сейчас тишина. Такая, что уши закладывает. Сделай что-нибудь, Слава. Приворот там, али еще что. Деньги есть.

Дед Слава отложил сеть. Посмотрел на Фому своими желтыми, немигающими глазами.

— Дурак ты, Фома, хоть и печник, — сказал он беззлобно. — Я тебе не кошку породистую ищу. Я тебе половину души сыскать должен. Это не в сельсовете печать поставить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.